

I

395.668

ЛИСТОК СРОКА ВОЗВРАТА

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ  
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ  
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Колич. пред. выдач \_\_\_\_\_

1973



395 668

Волотовская Государ.  
Публичная Б-ка  
1914 г. 11. 1. 1. 1.





ПЕТР ПЕТРОВИЧ ЕРМАКОВ (1883—1945)

4



П. П. ЕРМАКОВ

# ВОСПОМИНАНИЯ ГОРНОРАБОЧЕГО

ОГИЗ  
СВЕРДЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
1947

Петр Петрович Ермаков родился в 1883 году на заводе Бисер, бывшей Пермской губернии. Рано лишившись отца, П. Ермаков с 13 лет пошел на тяжелую работу. После долгих мытарств на временных заработках он становится забойщиком на железных рудниках. В 1905 году Петр Петрович организует в Бисере партийную группу и руководит Советом Рабочих депутатов.

С 1908 г. начинается скитальческая жизнь по Западной Сибири. П. Ермаков высылается вначале в Тюмень, затем в Енисейскую губернию за устройство стачек среди рабочих.

На родину в Бисер П. Ермаков вернулся лишь через 10 лет, вскоре после Февральской революции.

В 1918 году он работал председателем Совета Рабочих депутатов, председателем Делового Совета Бисерского завода. С началом Гражданской войны он формирует отряды Красной Армии и деятельно борется с контрреволюцией. В период восстановления Петр Петрович занимает различные ответственные посты. Последние 9 лет жизни он работал Главным арбитром при Свердловском Облисполкоме.

Петр Петрович Ермаков умер 17 марта 1945 года.

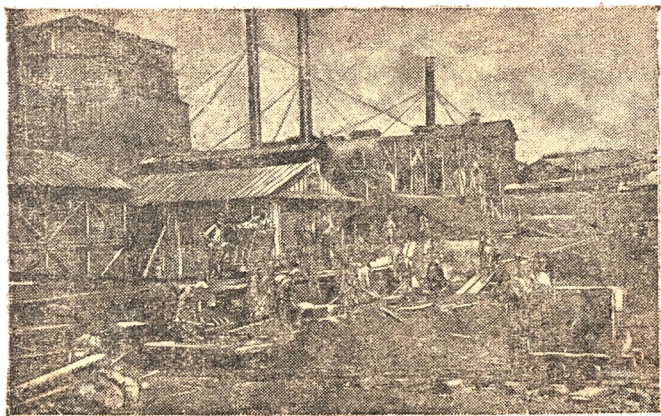
Большевик, человек кристальной честности, он всю свою жизнь провел в гуще простого народа.

В настоящей книге он описывает свое детство и юношеские годы, широко освещая условия труда и быта горнорабочих Урала до революции, жизнь которых он знал, как никто.

Особо останавливается он на формах эксплуатации рабочих и росте их политического сознания.

Книга воспоминаний П. Ермакова, несомненно, представит большой интерес для советского читателя.





*Бисерский завод в 1901 г. Промывка руды у доменной печи.*

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Родина моя — один из глухих заводиков старого Урала — Бисер. Он принадлежал до Октябрьской революции крупнейшему заводчику графу Шувалову. В Пермской губернии Шувалов владел свыше чем полумиллионом гектаров земли, не считая разных имений, дач и домов в других губерниях.

Кроме Бисерского завода, он имел заводы: Лысьвенский железопрокатный, Кусье-Александровский, Теплогорский — доменные. Ему же принадлежали Промысловские золотые и Верх-Исовские золотоплатиновые прииски.

Эта огромная площадь в значительной мере покрыта была еловыми, сосновыми, кедровыми и лиственными лесами. Все владения графа Шувалова назывались «Лысьвенско-Койвенским горным округом».

Как мой отец, так и дед и прадед работали в Бисерских железных рудниках. Отец зарабатывал 10—12 рублей в месяц. Мать вынуждена была ходить по богатым людям, деся-

тилетний брат работал в батраках у коновозчика, а я помогал матери управляться по двору и нянчил ребят.

Уйдет мать на работу, я умою братишек и сестренку, приготовлю обед: начищу картофель, нарежу его кусочками, размешаю в деревянной чашке с конопляным маслом или соленой капустой, разведу кислым квасом. А когда нет ни того, ни другого, поставлю на стол картошку «с постной молитвой», т. е. с одной солью и ломтем ржаного хлеба. На «десерт» дам ребятам кусок брюквы или репы.

После обеда загнешь у братишки рубашку, щелкнешь по животу, — отскакивает палец, значит, парень сыт. Уложить спать труда большого не составляло; если малыш начнет кукситься, сейчас же посадишь на печь, дашь шлепка два, чтоб крепко уснул.

В то время у нас не было обычая детям устраивать постели. Дети, как котята, сами находили себе место — на печи или на полатях.

Голые кирпичи или доски служили матрацем, детский кулачок — подушкой. Свернувшись калачиком, спишь, было, счастливым детским сном. Иногда в холодное время родители набрасывали на нас какую-нибудь грязную «гуньку».

Наши родители тоже не знали ни простыней, ни сменных наволочек, ни матрацев. Помню, у моих родителей было какое-то подобие постели: обшитый холстом войлок, до того затасканный, что, казалось, он остался со времени нашествия Батыя. Имелась одна небольшая перовая подушка с никогда неснимавшейся наволочкой, покрытой множеством заплат. Подстать ей было лоскутное одеяло.

О нашей одежде и говорить было нечего: «зимой и летом, все одним цветом», — рубашки и штанишки, на ногах — «адама башмаки».

Больше всего мучений доставляла мне сестренка. Она скучала днем по материнской груди. Тычешь ей в рот коровий рог с молоком: «На, подавись, рёва!» А она все-равно ревет страшным голосом. Качаешь, качаешь ее, и сам вместе с нею заревешь от обиды и усталости.

Утром, перед уходом на работу, мать опять будила меня: — Вставай, Петенька!

Если слова не действуют, то мать раза два «опояшет» меня опояскою по спине, тогда уж сон как рукой снимало, и я вскакивал со слезами на глазах. Конечно, матери жаль было рано будить меня, но что она могла сделать?

Вечером приходила с работы мать усталая, сердитая. Не отдохнув, брала ведра, шла на реку за водой.

Работы по хозяйству было много: напоить, накормить корову, подоить ее. Накормив грудную сестренку, мать заставляла меня укачивать ее, а сама садилась чинить наши рубашонки и штанишки. И пока не заснет сестренка, нечего было и думать мне убежать на улицу к товарищам.

Месяцев восьми умерла сестренка от какой-то эпидемической болезни. От радости, что я теперь могу играть с товарищами, не буду торчать день деньской возле зыбки, я выскочил во двор и побежал к соседям.

— Венка умерла все-таки! — крикнул я, едва открыв дверь.

Соседка накинулась на меня:

— Ах, ты арестантица такой! Как возьму тебя за волосы, так узнаешь как радоваться детской смертыньке.

Я понял, что сказал что-то неладное и пошел домой.

Вечером собралась вся семья. Мать плакала, суетяся по хозяйству. Мне было странно, что сестренка уже больше не плачет, не смеется, не улыбается при виде «козы» из пальцев.

Я стоял возле тела и ругал себя за то, что плохо смотрел за ней, редко пеленки менял, забывал иногда молоком накормить. Вспомнил, как мать иногда ругала ее: «Вот навязалась на мою головушку. Ни днем, ни ночью покоюшку от нее нет. Да уж скоро ли господь ее от меня заберет». Теперь мать плакала, я думал про себя: «Тоже ревет, а сама избивала кагоньку»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Кагонька — ребенок.



Соседка рассказала матери, как обрадовался я смерти сестренки. Мать стала ругать меня, но отец неожиданно выступил в мою защиту:

— Что вы уж очень напали на парня? Как ему не радоваться, что больше зыбки не качать. Ведь не парнячье дело с ребятами нянчиться.

Отец очень любил Венку и, может быть, сильнее матери переживал потерю.

По субботам, придя с рудника, он подолгу возился с девочкой, напевал ей разные песенки и матери все наставлял:

— Береги, мать, девку. Это будет твоя помощница. А мне хватит четырех сыновей. Вырастут, своя старательская артель у меня будет. Они будут на ширпе работать, а я буду руду искать.

Отец, надо сказать, больше предпочитал старательскую независимую работу, чем работу на конторских шахтах.

К труду нас приучали с ранних лет. В семилетнем возрасте я уже пошел весной со своим одиннадцатилетним братом рубить дрова. Одно лишь горе это было, а не рубка, но ничего не поделаешь. Отцу некогда, в руднике работает, а мать по людям ходит, — в огороде гряды копает, картошку сажит.

Тюкаем, тюкаем, к вечеру еле наворочаем с полметра. Руки до крови намозолим.

Всего больше доставалось от комаров. Так нас за день изъедят, что лицо и руки вспухнут, еле видишь.

Комаров и мошек в то время в нашей местности было видимо-невидимо, даже в селении от них спасались разведением «курева» (дымящих костров), а на сенокос ходили с «накомарниками», иначе гнус заест.

Накомарники устраивали так: из куска кровельного железа делали цилиндр, сантиметров 25 высоты и 15 ширины, с дном и крышкой и с пробитыми в стенах несколькими дырками для воздуха. Внутри цилиндра тлело курево из мха, древесных грибов или влажных гнилушек. Накомарник при-

креплялся на лямках к спине и снимался время от времени для пополнения курева.

Вот с помощью этих «аппаратов» мы и спасались во время сенокоса от комариных атак.

Сколько мы ни старались, но все же на суровую долгую зиму нарубленных нами дров нехватало. Бывали дни, когда печь совсем не топили за отсутствием дров. В такие дни мы, привыкшие ко всяким лишениям, особенно чувствовали безысходность великой нужды, навалившейся на нашу семью.

Когда становилось совсем невыносимо быть в холодной избе, мать просила кого-нибудь из соседей пустить нас на ночлег.

Спасенье от холода приходило обычно в субботу, когда с работы возвращался отец. Усталый и голодный, не пообедав и не помывшись в бане, он брал топор и принимался за снятие с огорода жерди. Нарубив дров, приносил в избу и командовал нам:

— Ну, ребятня, топи скорей железную печку и отогревайся, а то вы замерзли, как червяки, без меня.

Минут через пять печка начинала потрескивать. В избе еще стоял нестерпимый холод, но мы уже отогревали по очереди заоченевшие руки и ноги. Прыгаешь, бывало, около печки, и смотришь как печется на ней разрезанная на тонкие ломтики картошка. Правда, ели мы ее полусырую, так как на тонких стенках железной печки картошка не запекалась, а лишь подгорала.

Как это ни странно, в поселке, со всех сторон окруженном непроходимыми лесами, жители сидели зимой без дров. Это объяснялось тем, что беднота не в состоянии была весной и летом заготовить себе дрова. Вынужденные все время работать, чтобы прокормить себя и свои семьи, рабочие не имели времени, нужного для создания зимнего запаса дров.

В 40—45-градусные морозы волостное правление по утрам рассылало сотских и десятских по улицам. Они стучали палками в окна бедных избушек, чтоб узнать, живы ли обитатели. Если раздавался ответный стук, они пробегали дальше, но если было молчание, заходили в избенку проверить,

почему никто не откликается. Бывали случаи замерзания целых семей, об этом рассказывал мой дед.

Трудности с доставкой дров зимой увеличивались еще благодаря глубоким снегам, очень часто достигавшим двухметровой высоты. Как тут бедняк пойдет с салазками в лес за «сушинкой» (сухостоем)?

Когда мне исполнилось восемь лет, отец решил отправить меня в школу, но мать возражала:

— А в чем он пойдет? Ни обуви, ни лопотины (верхней одежды) у него нет. Ладно, одного выучили, хватит «тетрадки»<sup>1</sup> подсчитать.

Отец, оглядев мои худенькие штанишки и рубашонки, был озадачен:

— Петька, учиться надо, а вот в чем ты в школу пойдешь — задача трудная, хуже, чем руду найти.

Выручил дед по матери. Он пожертвовал свой старый худой зипун, из которого мать с бабушкой сшили мне пальтишко. Обутки дед приспособил из старых бабушкиных ботинок. Словом, в первый раз в жизни я был одет, как взрослый, хоть и смастерили мою одежду из старых обносков.

Но надев пальто и ботинки, я прежде, чем пойти в школу, побежал к подружке моего детства, соседской девочке Анке, по кличке «Портяна».

— Гляди, Анка, у меня пальто и обутки есть, я сегодня иду в школу учиться.

Но я своей радостью подружке причинил лишь горе. Она с завистью смотрела на мое жалкое «обмундирование». Для нее и это было недостижимой мечтой. Кроме дырявой холщевой рубашки, она ничего не имела. Когда на другой день она заикнулась своему отцу, что так же хотела бы пойти в школу, то в ответ услышала грубый окрик:

— Зачем тебе в школе учиться? Пеленки мыть да баню мужу топить — никакой грамоты не надо.

Я пытался утешить свою подружку:

---

<sup>1</sup> Тетрадками назывались расчетные книжки рабочих.

— Ладно, Анка, я вот выучусь и тебя научу грамоте.

Но мне не пришлось учить ее. Вскоре умерла ее мать, и отец роздал всех детей в батраки к кулакам в Калино-Камасинскую волость около Чусовского завода. Встретился я с ней вновь, когда ей было уже 23 года. Она все еще работала батрачкой.

Спросил ее:

— Как ты, Анна, прожила это время?

— Ах, не говори, горше бы надо, да уж некуда.

— Что ж замуж не вышла?

— А кто возьмет бесприданницу?

Уже в зрелом возрасте моя подруга устроила свою жизнь: вышла замуж за железнодорожного машиниста, оказавшегося неплохим человеком.

Учились мы в двухэтажном здании волостного правления. Вверху была школа, внизу волостное правление.

Во время уроков к нам часто доносились снизу душераздирающие крики людей, которых наказывали розгами за невыполнение государственных повинностей. Слушаешь эти крики и думаешь: «Вот вырасту большой и меня так же будут драть розгами и, наверно, очень больно, коли большие мужики благим матом орут».

Помещение школы состояло из трех комнат и четвертой маленькой конуры для учителя. Опутанные паутиной грязные стены, выбеленные когда-то в незапамятные времена известью, деревянный выбитый пол с торчащими сучками, за которые мы часто зацеплялись, потрескавшиеся от времени печи с лежавшими около них рубчатыми чугунными плитами, на которые ставили на колени провинившихся в чем-нибудь учеников, полутемные окна с никогда не мывшимися стеклами, истертые столы, на которых нельзя было писать, не подложив книги — все это производило унылое и тяжелое впечатление. Полы мылись от случая к случаю, лишь когда волостной суд присудит сделать это в наказание какой-нибудь женщине.

По субботам приходил сторож волостного правления и метлой наводил чистоту и порядок в школе.



На этого же сторожа возлагалась обязанность следить за поведением учеников во время перемен, когда учитель или учительница уходили в свою комнату. Единственным методом убеждения детей была розга. Лишь только сторож слышал снизу громкий топот детских ног и веселые голоса, он тотчас же появлялся с розгой и без долгих рассуждений начинал направо и налево щедро сыпать удары, не разбирая ни правого, ни виновного. Попытается кто-нибудь из невинно пострадавших возразить:

— Дедушка, я ведь не шалил, а сидел смирно.

— Эка беда, сегодня не шалил, значит, вчера дело было, или завтра нашумишь. Ничего, розга костей не искалечит, а уму-разуму научит.

Сторож наш был солдат николаевских времен, прослуживший в армии 25 лет. Высокий, костлявый, несмотря на свои семьдесят с лишним лет, он ходил прямо, как палка. Бил он жестоко. От одного его удара долго вьешься от боли, а иногда розгой и рубашку разорвет во всю спину, за что дома полагалась дополнительная порка.

Бил нас также и священник-«батюшка». У «батюшки» была привычка провинившихся учеников таскать за волосы, а если волосы острижены, то за уши.

Учительница тоже била нас, но не так больно. Она сжимала кулак и суставами пальцев стучала по голове. В перемену мы, смеясь, спрашивали один другого:

— Ну что, почесала тебе голову Анна Архиповна?

Наши родители считали, что нас мало еще «учат».

— Ну что, нынче разве учат? Одна вольность,— говорили они.— А вот мы когда учились,— розгой надерут, без обеда оставят да еще привяжут на шею старые лапти. Отец или мать лапти снимут да ими тебе еще спину и бока нагладят. Вот учили, так учили, а вас что — только балуют.

Мы верили. Действительно, куда нам до стариков. Эка беда, подумаешь, постоять во время урока в углу или на коленях. Хуже, когда запрут одного в школе, сиди до вечера, учи уроки.

Более хитрые ребята, оставшись в темноте, поднимали крик:

— Ой, батюшки, спасите!

На рев является снизу сторож.

— Чего базлаешь?

— Ой, дедушка, кто-то рогатый из-под парты показался.

Поворчит, поворчит старик, смилуется:

— Ну, ладно, безобедник, айда вниз. Там досидишь.

В правлении сидеть куда было веселей. Там всегда соби-  
рались кто-нибудь из стариков побалагурить. Ну и сидишь,  
слушаешь их побасенки. Порой засидишься до поздней ночи,  
хватишься, стрелой несешься домой. Бежишь и думаешь:  
«А чем тебя сегодня угостят — ремнем или только шлепков  
надают?».

После «угощения» лезешь на печку.

Мать сунет кусок хлеба:

— На, жри, варнак!

Официально наша школа называлась «Бисерская одно-  
классная народная школа» с тремя отделениями: младшим,  
средним и старшим. В 1892 году, когда я поступил в школу  
было 50 учеников.

Во всех трех отделениях преподавала одна учительница,  
не считая священника, проводившего свои уроки «закона  
божия» по средам и пятницам, т. е. по «постным» дням.

Учительница по очереди ходила из отделения в отде-  
ление, задавала уроки. Возвращаясь обратно, проверяла за-  
данное, опять давала новое и так целыми днями.

Следить одной за тремя отделениями было, конечно,  
очень трудно. Пока учительница занималась с одним отде-  
лением, в двух других зачастую поднимался шум и приходи-  
лось, прервав урок, бежать успокаивать разбушевавшихся  
учеников.

Никакой культурной среды на руднике не существова-  
ло. Учительнице не с кем было общаться.

Культурнее других были управитель и лесничий, но они  
водили компанию с начальником участка и Бисерской стан-

ции, куда время от времени выезжали встряхнуться и сыграть в винт.

Раз вздумала наша учительница Анна Архиповна найти выход из щемящего одиночества. Привезла она десятка три книг, произведения русских писателей и поэтов: Пушкина, Жуковского, Кольцова, Некрасова, Лермонтова, Никитина. У себя на квартире стала она давать ученикам читать эти книги, а вскоре за детьми пошли и взрослые. Но, к великому огорчению нашему, священник запретил учительнице принимать у себя на квартире не только взрослых, но и учеников.

— Не подобает наставнику детей устраивать у себя в квартире сборище и давать бог знает какие книжки.

Попыталась учительница убедить «батюшку», что все книги у нее дозволенные цензурой, но он свое:

— Мало ли цензура что разрешает для чтения благородным господам, но не черному люду, это надо понимать.

Так погасла загоревшаяся было в нашем темном уголке искорка. Лично я успел прочитывать два гаршинских рассказа «Сигнал» и «Четыре дня на поле сражения», Пушкина «Станционный смотритель», Некрасова «Генерал Топтыгин» и Кольцова «Лес».

В школе нас учили лишь самым элементарным начаткам знаний. Никаких вопросов задавать не разрешалось. Что бы ни говорилось, все должно было приниматься на веру, без всяких рассуждений.

— Учи, заучивай, а что к чему и зачем, не твоего ума дело.

Такая учеба оставляла мало следов в голове детей, и по выходе из школы через несколько лет некоторые даже разучивались читать.

Кроме учебы, была в школе еще одна надоевшая нам обязанность — исполнение молитв перед началом и концом занятий: утром — «Царю небесный», после уроков — «Отче наш».

Раз в год ученики ходили в церковь «сдавать» накопившиеся за год грехи. На это дело уходило четыре дня. Два

дня ходили по три раза в день в церковь отмаливать свои грехи, на третий сдавали их, и на четвертый «очищались» от них через принятие «святых тайн тела и крови Христовой».

Самое тяжелое в этой процедуре было идти к «батюшке» на исповедь. Идешь в угол на клирос. Там священник накроет тебя подрясником и начнет спрашивать про разные грехи: «не отругал ли кого — отца, мать, своих наставников, не говорил ли лжи, не покрывал ли своих товарищей в незаконных делах, каждый ли день молился богу, почитаешь ли его и всех святых угодников?»

Бывало, стоишь согнувшись под подрясником, и от страху, чтобы «батюшка» не открыл какой-нибудь твой грешок, на все вопросы отвечаешь, как попугай: «Грешен, батюшка грешен!» Еле дождешься окончания исповеди. Сунешь «батюшке» на стоявшую тут же на столике тарелку две-три копейки и весь вспотевший от расспросов бежишь в толпу ребят, где готовящиеся сдавать грехи спрашивают:

— Ну, чё, шибко много батюшка спрашивал грехов?

— Много, про все грехи спрашивал.

— Насчет куренья тоже спрашивал?

— Да, и много.

— И ты что сказал?

— Грешен, батюшка.

— А зачем ты покаялся, ты ведь табак не куришь.

Верно, табак я не курил, но все-равно приходилось каяться. Как-то раз я решил ответить «батюшке»: «Не грешен», тогда он взял меня крепко за ухо и пригнул до полу со словами: «Врешь, сукин сын». Поэтому лучше было принимать на себя несовершенные грехи, чем подвергать опасности свои уши.

В школе впервые почувствовал горькую обиду от социального неравенства. Когда я поступил учиться, то мне выдали самую грязную, растрепанную азбуку, тогда как детям служащих и зажиточных жителей дали новенькие. Мне много пришлось положить труда, чтобы азбуку привести в порядок, подшить, подклеить.

Я заявил отцу о своей обиде:

— Почему, тятя, мне дали худую книжку, а вон Сеньке Оборину новенькую?

— Ничего, сынок, мы с тобой люди бедные, а у Сеньки отец богатый. Учись только прилежно, и по старой книжке можно научиться. Береги ее и тебе хватит до конца года.

Хотя моя азбука к концу года была в лучшем виде, чем выданная Сеньке новая, но все же на следующий год я опять получил растрепанную книгу.

Дома уроки мне нельзя было готовить, так как все свободное время уходило на работу по дому. Поэтому я готовил уроки в школе во время перемен.

Когда я уже учился во втором и третьем отделении и уроки были посложнее, то готовил их на печи при свете лучинки, после того как вся семья ложилась спать. Для занятий мать не разрешала жечь керосиновую лампу.

На просьбы мои дать мне возможность готовить уроки я обычно слышал от матери:

— Выдумали с отцом ученье, а мне только одно мученье. Убежишь в школу, а дома угланы одни остаются.

Я это и сам понимал, но великое желание окончить школу, заставляло меня молча переносить все упреки матери.

При окончании школы мне еще пришлось испытать горькую обиду, не забытую и до сих пор. После экзаменов стали выдавать свидетельства об окончании школы и лучшим ученикам «похвальные листы».

Несмотря на то, что я вышел на экзаменах вторым по успеваемости, мне не дали похвального листа, а дали сыну священника, одному из худших учеников.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Моя учеба в школе чуть не прервалась на втором году. Когда мне было девять лет, погиб в шахте отец.

Дело было в середине декабря. Стояли морозы. Отец пошел работать в праздник Рождества на отлив воды из шахты,



производившийся железными бочками — «кибелями». На шахте освещения никакого не было. Горел лишь костер. Шахтный сруб от уровня площадки возвышался всего сантиметров на 20, а площадка вокруг шахты обросла льдом, отчего получался ледяной наклонный спуск к шахте.

Отец услышал стук открывавшегося кибелем люка, кинулся его принимать, чтоб направить жолоб для отвода воды. Впотьмах он не разглядел, что второй люк в шахту открыт, поскользнулся на льду и упал в шахту 65-метровой глубины. На пути он ударился головой о железный кибель и, падая, чуть не зашиб находившегося на дне шахты рабочего.

Приехавший по вызову рабочих штейгер немедленно заставил обколоть вокруг шахты лед, повесил два фонаря с керосиновыми лампами.

Словом, быстро нагели порядок, а затем уже приехало волостное начальство составлять протокол о случившемся.

Гибель отца заставила администрацию рудника вывесить в шахте фонари, повесить сруб шахты до 75 см. и наладить наблюдение за своевременной очисткой его от льда.

Отец погиб в два часа ночи, а о смерти его мы узнали часов в девять утра. Мать послала меня с котомкой хлеба к соседу, рабочему того же рудника. Он собирался в это утро поехать на рудник. Когда я пришел к нему, он сказал мне:

— Не надо отправлять, отец твой домой будет.

Я вернулся с котомкой обратно.

— Мама, тятя домой будет, дядя Иван сказал.

Мать, почуяв неладное, побежала сама узнать, почему отец хочет домой притти. Вскоре слышим, мать возвращается с громким плачем:

— Куда я теперь денусь без мужика с такой оравой?

Трудно теперь передать всю жуть безысходности, нависшей над нашей семьей. Мы оказались без копейки денег, без запаса хлеба. Хотя мне было всего девять лет, но я глубоко

почувствовал потерю, забрался в угол на печи и залился тихими слезами.

Отца мы любили все очень крепко, он был ласковее матери, очень редко кого-нибудь наказывал и то лишь в тех случаях, когда мы что-нибудь ломаем.

Мать нас била всем, что ей под руки попадало.

Он часто ее за это бранил:

— Зачем ты бьешь ребят чем попало, можешь уродами на всю жизнь оставить.

Он был стройный, сухощавый, с тонкими чертами лица, светлорусый, с голубыми глазами. Несмотря на свою сухощавость, обладал большой физической силой и выносливостью в работе, сутки мог проработать, не выходя из шахты. Авторитетом среди рабочих он пользовался большим. Когда я пришел мальчиком в первый раз на тот рудник, где погиб отец, один старик сказал:

— Смотри, Петька, на смертную шахотку твоего отца да расти таким же, как он. Будь честен, руку начальства не тяни, на товарище не вылезай.

Я взглянул в зияющую пустоту шахты и отвернулся.

В последний раз я видел отца, когда анатомировали его труп. Слезы на глазах от обиды, что режут его тело, помешали мне посмотреть на знакомые черты лица. Судебные власти повели так следствие, чтобы доказать, что отец в день смерти был пьян и, значит, администрация рудника не виновата в его гибели.

Когда разрезали его желудок, судебный следователь спросил:

— Что, старички, как будто водочкой пахнет?

Стоявший в толпе лавочник угодливо ответил:

— Да, как будто наносит.— Хотя он хорошо знал отца, как непьющего человека.

Рабочие с негодованием возразили ему:

— Что ты клеплешь понапрасну на покойного? Это от твоего толстого брюха воняет винушкой.

Лавочник стал оправдываться:

— Да мне, братцы, нанесли. Может быть, и не от Ермакова, а от другого кого из выпивших.

Отец мой очень любил читать. Когда он погиб, в котомке его вместе с остатком ржаного хлеба, мешочком соли и махоркой оказалось пять книжечек Льва Толстого.

Где он их добыл — не знаю. На вышке в лубяном коробке я нашел позже еще около десятка различных книг. Тут была химия Ломоносова, издание 18 века, отдельные номера журналов «Отечественные записки», «Мира божьего», «Календарь Гутцука», Салтыкова-Щедрина «Господа Ташкентцы» и другие.

Не знаю, что усвоил отец из чтения этих книг, но мне они давались туго. Например, сообщения о происходившей в Испании революции вызвали у меня глубокое изумление. Я никак не мог постичь, зачем это испанцы с испанцами воюют. Наконец, я решил для себя — верно им не с кем воевать, а воевать хочется, ну и воюют между собой.

Яшка, один из приятелей, дал мне прочитать «Франциля Венициани».

— Вот занятная книга, в ней рыцари на конях за прекрасных дам сражаются. Кто успеет копьём проткнуть другого, тому дама отдаёт свой драгоценный перстень.

Прочитал рекомендованного «Франциля» — не понравилось. Эка важность — лезть на смерть, чтоб какая-то баба за это тебе глазком мигнула, да какой-то перстенок дала. Если бы замуж пошла, ну ещё другое дело.

Увидел я у яшкиного отца на столе комедию Мильтона «Потерянный и возвращенный рай».

«Наверное, подумал я, тут лучше рассказано про рай, чем старухи рассказывают». Однако на мою просьбу дать мне прочитать книгу про рай отец Яшки сказал:

— Нос ещё у тебя не дорос такую книгу читать.

Узнал я, что у моего дедушки есть книги. Действительно, у него оказалось около десятка книг, но все божественного содержания. Дал он мне одну книгу со словами:

— На, Петька, читай. Прочитаешь с толком, будешь знать, как нужно прожить на земле.

Книга оказалась сборником из Четьи Минеи под названием «Книга благочестия», т. е. житие святых. Прочитав, принес деду обратно книгу. Он спросил:

— Прочитал, внучек?

— Прочитал, дедушка. Только почему, дедушка, все святые из богатых, а батюшка в школе говорил, что «легче верблюду пройти сквозь игольные уши, чем богатому в рай». Дед, осердившись на мой вопрос, буркнул:

— Тебя, дурака, бог не спросил, кого в святые допустить.

Отец очень любил читать вслух рабочим. Он был неплохим чтецом. После его смерти рабочие долго вспоминали отца:

— Некому нам теперь книжку почитать, умер наш развлекатель.

Когда я через четыре года после его смерти пришел работать в рудник и также принес с собой книжку, рабочие обрадовались:

— Ну, сменщик отцу пришел. Давай, Петька, читай.

Но с первой же страницы получил суровую оценку:

— Нет, из тебя не вышло отца, тот читал, за сердце брало, а ты читаешь, точно читальщик по покойникам.

Лишь через восемь лет после своего неудачного дебюта в качестве чтеца, я получил поощрительную похвалу уже как оратор.

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Вспоминая свое детство и юность, которые прошли в глухих местечках Урала, я сейчас сам поражаюсь тому, как много невежества и дикого суеверия культивировалось в нашем рабочем быту.

С ранних лет наши головы забивали рассказами о всякой нечисти. В нее верили все — малые и большие. По их представлениям, нечистые обитали повсюду: в подполье — голбешный суседко (домовой), во дворе — дворовый, в бане — банный, в лесу — леший, в воде — водяной, в горах — горная матка.

Немало «рассказней» было о загробной жизни и покойниках, приходящих с того света.

Помню, что старухи особенно любили расписывать адские муки. Каких только мук они ни измышляли перед нами! Вот черти заставляют одних грешников лизать раскаленные сковородки, других травят змеями-скорпионами, третьих хлещут раскаленными железными прутьями, или подвешивают за язык на крючки. Всех сатанинских изображений по части мук не перечесть.

Мы, дети, все этому верили и, трепеща перед будущим, заранее готовились к мукам.

Однажды под влиянием рассказов бабушки Маремьяны об адских муках я вздумал лизнуть горячую сковородку, только что вынутую из печи. От нестерпимой боли я, конечно, заревел благим матом. Мать, перепугавшись, бросилась ко мне:

— Что с тобой?

Узнав, что я хотел попробовать, больно-нет будет лизать на том свете, мать невольно рассмеялась:

— Вот дурак-то, вот дурак-то. Да чего ты не успеешь на том свете нализаться? А теперь вот язык сжег, как есть-то будешь?

Насчет предстоящих мук я поделился со своим другом Яшей Махнутиным:

— Я вот черную горячую сковородку лизнул и то больно, а что будет, когда черти красную заставят лизать?

Яша сказал:

— По крайней мере мерзнуть не будем. А когда черти после петухов заснут, на речку сбегаете напиться.

От всей этой чертовщины, засорявшей наши детские головы, мы впоследствии освобождались, но медленно. У некоторых на всю жизнь оставался суеверный страх.

По верованию стариков, самым надежным убежищем от нечистой силы являлась русская печка.

Дед всегда нам наказывал:

— Смотрите, ребята, когда придется вам ночью одним в избе остаться, с печки не слезайте, кто бы вас ни выманивал с нее.

Раз вечером я хотел подшутить над своими младшими братьями. Взял кусок овчины от худого полушубка, сложил его в комок шерстью вверх и воткнул в квадратное отверстие в полу, сделанное для кошек. Чтобы придать подобие этой мохнатой голове, я прицепил к овчине два кружочка бумаги с двумя угольными точками вместо глаз. Затем, взглянув как бы нечаянно, воскликнул:

— Ой, кто-то лезет из подполья!

Ребята, не рассмотрев толком шубный лоскут с бумажками, заорали диким голосом и забились в угол, трясясь от страха. В первое время мне было смешно, но немного погодя меня самого стало брать сомнение: не «голбешный ли суседко» лезет из подполья, рассердившись на мою шутку. К голосам братьев я вскоре присоединил и свой. На наш неистовый рёв прибежала соседка.

— Чего вы, ребята, орёте, кого испугались?

Мы от страху еле могли пролепетать:

— Суседко лезет из голбца.

Она взглянула в дыру и со словами: «Свят, свят, чур меня!» опрометью кинулась из избы. Еще больше напуганные, мы стали цепенеть от страха. Хорошо, что вслед за соседкой прибежал ее муж. Он был не из трусливых:

— Чего вы, щенята, базлаете, кто вас трогает? — спросил он.

Брат мой трясущимися ручонками показал на дыру. Мужик подошел и спокойно вытащил лоскут.

— Кто это затолкнул?

Мы все в один голос:

— Не знаем, дяденька Иван.

— Ну ладно, завтра разберем, а сейчас на печь, а то, как зайцы трясетесь.

Подобные истории случались не только с детьми.

Раз один семнадцатилетний парень напугал в шахте четырех пожилых подкатчиков, которые от страху убежали из шахты. Спустившись в шахту запасным ходом, парень забрался в неработающий газенок и, когда два подкатчика пришли



нагребать в тачки руду, стал тихо стонать. Зная, что в шахте никого нет и все забойщики ушли, подкатчики решили, что это «горная матка» (горный дух) стонет и, бросив тачки, кинулись бежать к стволу шахты. Там один из рабочих, услышав об этом, выругался:

— И какой там чорт поблазнил. Наверное, вода откуда-нибудь сочится. Пойдем посмотрим, никакой там матки нет.

Подошли все четверо к газенку, стоны продолжают. Посмелее парень хотел подойти поближе, но к стонам вдруг прибавилось завывание. Тогда все, не помня себя, бросились бежать из шахты и, еле дыша, прибежали в рудничную конторку. Штейгер, молодой рабочий, с детства работавший в шахте, обругал их за страх. Спустился вместе с ними в шахту, но там все было тихо. Парень, напугав откатчиков, запасным выходом удрал из шахты.

Стариковских побасенок о явлениях в разных видах «горной матки» было очень много в те времена и сами старики настолько верили в существование горного духа, что в ночную смену не решались по одному идти в забой.

Один раз уже в 1904 году я без всякого умысла напугал до полусмерти сторожа рудничной конторки. Проработав ночь в шахте, я в пять часов утра зашел в конторку попросить сторожа, чтобы он сказал штейгеру об отметке мне поденщины. Сторож, увидев меня, закрестился и забормотал заклинания: «Свят, свят, да воскреснет бог и расточатся врази его». Насилу старик пришел в себя. Зная, что с вечера ни одна душа в рудник не приходила, он принял меня за привидение.

В привидения верили все.

Раз два молодых парня чуть не погибли от страха. Забравшись пьяными в кладбищенскую сторожку, служившую моргом, они крепко уснули. Один из них ночью проснулся и, чиркнув спичку, увидел на столах два гроба. Сообразив, где он находится, парень стрелой вылетел из избушки. На пути он наскочил на своего товарища, спавшего у входа в избушку. Тот, как безумный, вскочил с пола и понёсся что

есть духу вдогонку за своим товарищем с криком: «Стой, стой!» Первый парень подумал, что за ним гонятся покойники, от страху еще больше набрал ходу. Добежав до крыльца дома, он упал без сознания, второй свалился около него. Мать, не зная в чем дело, закричала на всю улицу:

— Батюшки, Мотька моего Саньку убил!

Прибежали соседи. Осмотрели парней — они с виду целехоньки. Притащили воды, облили обоих. Один обрел, наконец, дар слова, зашевелился и другой.

Самым страшным считалось время с двенадцати до часу ночи, когда по стариновским уверениям бог отдыхал и гуляла одна бесовская сила.

О пробуждении бога предупреждал петух. Суеверные старики, находясь где-нибудь в ночном карауле, с нетерпением ждали пения петухов, после чего крестились:

— Слава те, господи, дурной час прошел, нечистая сила волюшку потеряла!

Много во времена моего детства ходило легенд о проделках лешего над людьми. И кого только ни водил он в своей игре! В нашем селении, пожалуй, не было жителя, кто бы не испытал страху от его «шуточек».

Наша местность была покрыта непроходимыми еловыми лесами. В них легко можно было заблудиться. Углубившись в поисках грибов или ягод далеко в лес и не рассчитав пройденного, женщины, ребята начинали кидаться то в одну, то в другую сторону. Потеряв окончательно направление, они уверенные, что «он» их водит, бросались бежать уже без всякого соображения. Запутавшись вконец, в бессилии садились под какое-нибудь дерево, отдаваясь на волю божью. Через день-другой на поиски заблудившегося волостной старшина наряжал пять-шесть человек, из тех, кто с ружьишком любит похаживать по лесу.

Для избавления от лешего народ придумывал разные спасительные средства; говорили, что надо вывернуть наизнанку всю одежду, в обуви перевернуть стельки, а курящие могли умилостивить лесного духа табаком, положив его на

пенек. По словам старых людей, леший был большой любитель табачку. Но он был опасен тем, что на него не действовали никакие заклинания и, не в пример другим чертям, ему был дан для разгула не один час в сутки. Бог одного его не ограничил во времени.

Такшло наше детство среди всяких страхов и суеверий.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

После смерти отца мать сказала:

— Ну, походил, сынок в школу и довольно. Теперь надевай суму. Кормильца у нас больше нет.

Но я решительно заявил:

— Милостыню я собирать не буду. Лучше в проруби утоплюсь. Иди в контору и проси, чтобы она нас кормила: ведь отец на конторской работе помер.

Почему мне пришла такая мысль, я уж не помню сейчас. Не бывало ни разу у нас, в Бисере, чтобы детей рабочих, погибших на работе, кормила контора графа Шувалова. Обычно контора писала: «Погиб по собственной неосторожности».

Дед поддержал меня:

— Правильно Петька говорит. Надо пойти в контору. Если добром не будут давать на пропитание детей, судом возьмем.

Дед мой был грамотный, когда-то служил штейгером на руднике. Написал он прошение следователю по судебным делам. Потом съезду земских начальников, в окружной суд, затем в Казанскую судебную палату.

Прошел год, прошел другой. Дед не дождался ответа и умер.

Через полгода после его смерти, наконец, пришло из судебной палаты решение. Но какое?

«Взыскать с вдовы мастерового Бисерской волости Ермаковой Марфы Егоровны 348 рублей 42  $\frac{1}{2}$  копейки судебных издержек».

Пришел к нам сам урядник, а с ним волостной старшина, сотские и десятские.

Мать, как услышала решение царского суда, грохнулась на землю, а мы — пятеро голопузиков — подняли вой.

Мы уже знали, что если явились главные начальники, то быть большой беде. Наверное, с описью пришли, за самоваром или коровой. У нас было единственное богатство — корова Красулька и большой медный самовар. Больше взять нечего — в избе хоть шаром покати.

Урядник и старшина приготовились уже описывать корову и самовар, но подошедшие мужики стали упрашивать их:

— Что вы, господин урядник и господин волостной старшина, пожалейте сирот, не разоряйте их вконец. И так их жизнь горе-горькое. Да они и не виноваты, все дедушка их напрокудил со своими прошениями. По темноте своей не знал, как писать.

А надо сказать, что в то время всякие прошения в судебные органы требовалось писать не на простой бумаге, а на гербовой и приклеивать к ним гербовые марки.

Покойный же дед считал, что раз наше дело сиротское, можно писать и на простой. Вот почему это дело и вскочило нам в копеечку.

Все же урядник и старшина не решились отобрать от нас корову и самовар. Составили протокол о бедности и предупредили, что если судебная палата не утвердит протокола, то все же придется описывать. Больше полугода мы жили под страхом. Лето и осень корову держали в лесу, самовар прятали у соседей.

Это была, конечно, игра в открытые прятки. Корова не игла, в щель не запрядешь.

Один из бисерян, служивший в Перми, посоветовал матери передать дело о гибели отца присяжному поверенному Подалке. Он написал прошение, и вот в одно прекрасное утро вызывают на окружной суд мою мать, двух штейгеров и одного старика, работавшего вместе с отцом в день его смерти.

Предварительно, как тогда водилось, штейгера стали усиленно поить водкой старика-рабочего, чтобы тот показал на суде, что отец во время работы был якобы пьян. Старик

даровую водочку выпил, но когда его стали спрашивать, как было дело, он неожиданно для штейгеров заявил:

— Господа судьи, хоть я водку и пил от щегерей, но покажу истинную правду. Петр Михайлович Ермаков водку не пил. Я это знаю хорошо, как мы с ним жили по соседству. А упал он от того, что на кычке<sup>1</sup> огня не было и на шахте был дым и туман от пара из шахты. И когда он побежал встречать кибель из шахты, впотьмах подскользнулся на льду и угодил в незакрытую половину отверстия шахты. Вся причина от того, что щегеря не давали фонаря.

Что ж, виновников все же не оказалось. Написали — «убился по собственной неосторожности». Раз так, то и просить нечего.

Положение у нас было отчаянное. Брат зарабатывал 20 — 25 копеек в день, мать — рубль-полтора в неделю. Заработка хватало лишь на одну ржаную муку, соль и на два фунта сахара.

Помню, я ухитрился выпивать две-три чашки чаю с кусочком сахара величиной не больше кофейного зерна.

Осенью у Красульки появился теленок. Его закололи и продали. Мать отдала все деньги за вывозку сена и дров. На нашу долю остался сбой — головка и разная требуха.

Из этой требухи вышли хорошие щи. И мы долго потом просили мать:

— Мама, свари в том горшочке. Может быть, еще наварится.

— Да что вы, дурные, — скажет мать. — Нальешь воду в пустой горшок, вода и будет.

Иной раз сварит в этом горшке картофельную похлебку. Поставит на стол.

— Ну, ешьте. Телячью головку сварила.

А нам и на самом деле казалось, что от похлебки мясом пахнет.

Мать изредка стряпала картофельные шаньги (ватрушки). В этот день мы не знали, чем матери угодить.

---

<sup>1</sup> Кычка — отверстие шахты.

— Ты, мама, ничего не делай. Мы все сделаем сами. Так и перебивались. Хуже было с одеждой. Однажды учительница сказала мне:

— Вот что, Ермаков, в таких лохмотьях я тебя в школу не буду пускать: у нас есть девочки, неприлично.

Я задумался. Мне очень хотелось учиться. Матери об этом нечего было и говорить: она бы только обрадовалась, что я буду дома с ребятами сидеть.

Из школы прямо зашел к деду, рассказал ему о своем горе. Он выслушал, сказал:

— Да, Петька, дело — табак. У меня ничего нет. Сам знаешь — живу на хлебах у сына. Ну, ладно, утро вечера мудренее, поговорю с Павлом.

Так звали его сына, который мне приходился дядей. Дядя держал двух крепких лошадей, но мужик был скупущий. Жена его — добрая, отзывчивая женщина, боясь его, не смела нам помогать.

Кроме дяди Павла, у меня было еще два дяди, также коновозчики. Жили они в достатке, детей не имели. Однако никто из них не догадывался помочь нам. После смерти отца мы слышали от них одни советы:

— Ну, ребята, вы теперь сироты. Прижмитесь и будьте тише воды, ниже травы. Молитесь больше богу, он вас, сирот, не оставит.

Но от этих слов нам сытнее не было. Мы не решались заходить к ним даже по большим праздникам. Боялись, что скажут: «Пришел кусок выглядывать».

Мать иной раз посылала:

— Вы бы, ребята, сходили, поздравили дядей и тетю с праздником. Гладишь, пряник или конфетку дадут.

Но нас и конфетка не соблазняла.

Не знаю, сам дядя Павел или жена его дали деду старые плисовые штаны.

Мать перешила их мне, и на другой день я пришел в школу в плисовых штанах.

В перемену слышу, одна девочка говорит, смеясь:

— Глядите, ребята, Петька Ермаков в дядиных плисовиках пришел.

От обиды и злости на нее (хорошо ей смеяться, отец у нее был земским ямщиком) я схватил ее за косу и давай таскать.

На рев девчонки прибежала учительница.

— Ты что делаешь, разбойник? Зачем девочку бьешь? И поставила меня за парту на колени.

Много забот доставляла и наша худая избенка. Она совсем разваливалась от дряхлости. Когда был жив отец, он время от времени ставил подпорки, а вместо отвалившихся зауголков вставлял чурки. После смерти отца мать частенько вздыхала:

— Эх, ребята, кабы нас изба не накрыла. Задавит во время сна, с белым светом не успеешь проститься.

Когда изба особенно угрожала падением, мать обращалась к соседям:

— Люди добрые, подоприте как-нибудь избенку. Упадет, где я буду жить со своими углами.

— Да, уж больно худа изба-то, Марфа Егоровна. Поправлять-то нечего, новую надо загунивать.

Но все же придут, подлатают кое-где, и мы опять живем.

Избенка стояла еще пять лет. Уж когда мне исполнилось шестнадцать лет, мы со старшим братом ее сломали и построили новую.

В 1894 году я окончил школу. Мне было уже одиннадцать лет. Мать сказала:

— Ну, Петька, ты уж теперь большой. Надо итти рубить.

Лето я провел еще на правах маленького, а к осени устроился с одним стариком рубить дрова для жителей. Подошла зима, в глубоком снегу стало трудно работать, старик поступил в сторожа, я остался без работы.

Попытался было итти в батраки к коновозчикам, подгонять задних лошадей. Не берут.

— Куда тебя возьмешь? Ты гол, как сокол. Замерзнешь дорогой, отвечай потом за тебя.

Они были правы, где мне было выдержать жестокие морозы, когда даже коновозчики, одетые в собачьи дохи, прыгивали из саней, чтобы пробежаться для «согрева».

В рудник меня тоже не взяли — мал. Дома начались попреки: — Чего не ищешь работу, варнак? Хватит даром хлеб есть.

Чтоб смягчить упреки, я старался меньше есть и по-прежнему сделать больше работы. Но это мало помогало. Кое-как с помощью брата, работавшего в тот момент мусорником на домне, мне удалось попасть в завод на сортировку руды на пожоге. Работа была тяжелая, грязная от красной охры. Но я был рад, что устроился на настоящей работе, что буду, наконец, есть свой хлеб.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

В то время, в половине 90-х годов, на руднике еще крепки были пережитки крепостнической эпохи и силэн древний уклад. Рабочие-старатели жили своим отдельным мирком. В казарме или бараке царили старики, молодежь не смела слишком бурно проявлять себя, боясь услышать стариковский окрик: «Чего заржали, как жеребцы, верно, не уробились!»

После работы, сварив себе ужин, все чинно усаживались на нары хлебать какое-нибудь варево. Отужинав, помолясь усердно богу, ложились спать, чтоб утром по «кичигам» или «лосю», т. е. по созвездиям, встать часа в четыре. Не торопясь умывались и с молитвой приступали к завтраку. Затем со словами: «В добрый час, во святое времячко, пошли, робя тушки, на работушку» шли на свои ширпы копать руду.

На старательских шахтах все, без исключения выполнялось вручную. Воду отливали бадьями, крепкую руду разбивали железными клиньями, забиваемыми балдой (кувалдой). Когда попадала крепкая руда, обычно слышался разгвор: «Ну и попалась рудушка, весь день болдовницу хлебали». Нужно было иметь большую выносливость и терпе



ние, чтобы часов десять в день бить по клину двадцатипятифунтовой кувалдой.

Хотя инструмент выдавался конторский, но нужно было его за свой счет доставлять к месту работы и исправлять. Иногда старательские работы от рудничной кузницы находились на расстоянии пяти верст. Старателям приходилось таскать на своих плечах в кузницу и обратно инструмент, взвалив на себя пуда два. Обязанность таскать инструмент была, как правило, возложена на молодых. Крепежный лес для крепления горных работ заготавливался тоже самими старателями.

Обмер и приемка руды до середины 90-х годов проводились своеобразным способом — на «ящики». «Ящик» условно заключал в себе 100 пудов. Он устраивался из четырех досок, сколоченных квадратом, сажень на сажень, 6 вершков высоты. Для удобства ящик делался в половинном размере, чтоб легче было вытряхивать из него руду. Этот способ обмера остался от крепостнической эпохи, когда составлялся дневной урок для крепостных рабочих, обязанных за день добыть до 25 пудов на человека, т. е. вчетвером один ящик. Фактически «ящик» вмещал больше, чем 100 пудов. В кубической сажени было 6 ящиков. По расчетам шуваловской администрации, кубическая сажень железной руды весила 600 пудов. На самом деле она весила от 800 до 1000 пудов и даже иногда больше.

Приемка руды ящиками не требовала от администрации сложных арифметических вычислений. Приходит на шурф штейгер, подравнивает палкой насыпанную в ящик руду, и если он до краев полон, то скомандует: «Сыпь под отвал». Сам проследит, чтобы ящик устанавливали на плоскости, да в середине не было бугра, и идет к другой артели. А в своей записной тетради ставит палочку. Если же штейгер был неграмотный, то зарубал на рябиновой палочке зарубку, служившую ему затем расчетной ведомостью. Был в мое время неграмотный штейгер Гаврило Ошвинцев. Все ведомости заработка рабочих, забор ими продуктов в рудничных мага-

зинах, а также отчетность по движению материалов (он вел зарубками на палках и по субботам, набрав целую охапку своих ведомостей-палок, сдавал в конторе расчетчикам, которые с них вносили в рабочие книжки заработок и количество забранных продуктов. На этой почве было полное раздолье для всякого рода жульничества и обчетов рабочих со стороны штейгеров и «запасчиков» (заведующих магазинами). К тому же, в подавляющем большинстве рабочие были неграмотны и не могли прочесть в расчетных книжках записи «заработано» и «выдано».

Придирки штейгеров к рабочим-старателям, не догадывавшимся угостить их водочкой с гельменями, были бесконечны. То руда негодящая, то забои неправильно ведутся, то крепь тонка, то в руде много примеси. При замерах ящиков требовали, чтобы они были с верхом, продукты выдавали испортившиеся. Иногда так притесняли артель, не соглашавшуюся на угощение начальства, что та бросала свой шурф и уходила с рудника. Тогда штейгер отдавал брошенный шурф «своим Иванам» — работай на готовеньком, без затраты лишних трудов.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Старатели, прежде чем добывать руду, должны были найти рудное месторождение и пробить шурф. Старательское дело требовало большого опыта и знания разведочного дела. Нужно было знать контактовые породы железных руд, так как руду разыскивали «щупами». Щуп — это железный стержень от одной до двух сажен длины и три четверти дюйма толщины. Он имел наваренный стальной заостренный наконечник четырехгранной формы с прорезанными желобками по граням. Эти желобки назывались «голосками». Они давали знак о присутствии в земле руды посредством коричневого осадка в них при проходе рудного тела. Каждая артель, состоявшая из четырех человек, всегда имела один-два щупа. Пока земля еще не застыла, старатели, окончив работу, бродят по окрестностям своего рудника и «щупаются», т. е. 30

бывают шуп в поисках руды. Вечером после разведки делятся результатами.

— Ну, как, сват, чего-нибудь нащупал?

— Да, в одном месте что-то показалось вроде голку.

Самобытные геологи-разведчики изучали на слух, какие звуки раздаются при прохождении той или иной горной породы, и запоминали их. Звуки при прохождении железной руды называли «голком», от слова «голос», это значило — руда голос подает.

Таким же методом разведок пользовалась и контора завода. После сенокоса назначался штейгер с десятком рабочих на поиски руды по хребтам, по приметным местам. Какой-нибудь знающий старик указывал, что когда ходил за лыками, то видел под выскырем<sup>1</sup> липы рудную породу. Ходят месяца два, «щупаются» и местами пробьют шурф на «голк». Очень редко однако получались положительные результаты от таких разведок.

Открывателями железных руд в большинстве случаев являлись «кучеклады», — рабочие, занимавшиеся переугливанием дров в лесу кучным способом. Открывали они руду очень просто. Копая землю для засыпки дров, случайно натывались на руду. Большинство железных рудников в Бисерской даче было открыто кучекладами, а также старателями и охотниками, набредавшими во время охоты на поверхностные выходы руд — «верховики». Ими, а не геологами, были открыты в старое время почти все минеральные богатства Урала. Например, знаменитые Березовские золотые прииски близ Свердловска открыл шарташский крестьянин смолокур Марков при выкорчевывании сосновых пней. Как правило, все открыватели, кроме неприятностей, ничего не получали за свои открытия. Марков за открытое им золото вместо благодарности натерпелся много горя «в чижевке». Открыватели железных руд отделялись дешевле — им просто не давали работать на открытом месторождении. По-

---

<sup>1</sup> Выскырь — обнаженные корни сваленного бурей дерева.

этому для разведчика-старателя было невыгодно находить крупное месторождение: все-равно отберут и «спасибо» не скажут. Разведчик-старатель вознаграждал себя тем, что, найдя руду, принимал к себе компаньонов в организуемую артель, брал с них «вступное» водкой, смотря по мощности залегания руды, от бутылки до ведра. Выше ведра водки наши старатели не знали цены своих «акций». Как было заведено, водка выпивалась всей артелью, и затем пьяный открыватель начинал куражиться:

— Вы, мужики, не думайте, эту руду выробим, другую найду. Со мной без работы не останетесь!

Хотя его товарищи хорошо знали, что другой руды у него нет, но все ему поддакивали:

— Да мы, братишка, знаем, что ты дока руду находить.

Бывало частенько внесут в пай четверть и полведра водки, проработают недели две-три, руда иссякнет, тогда открывателю влетало от «соратников».

— Вот такой-сякой, нахвастал только, водку зря хлестал, а руды-то с комариный нос оказалось!

Увлечение разведками и старательством у некоторых наших жителей доходило до страсти. Даже по деревьям определяли присутствие руды. Самобытные геологи уверяли, что если корни дерева дойдут до руды, то оно должно иметь особый вид строения коры и ветвей. Много ходило различных легенд об умерших старателях, знавших о рудных местах, но не сказавших их место. Иногда перед смертью старики передавали своим сыновьям:

— Ищи, милый сынок, мою руду по тесу<sup>1</sup> на такой-то «гриве»<sup>2</sup>... Мой покойный родитель сказывал, что покойный щегерь Григорий Михайлович Просвирнин нашел, да конторе не сказал, все берег для себя, вдруг да прогонят с работы, если свое старанье откроет.

И вот ходили, разыскивали «тёс», будто бы сделанный

---

<sup>1</sup> Тес — затес на дереве.

<sup>2</sup> Грива — хребет горы.

лет 50 тому назад умершим давно штейгером Просвирниным. То какому-нибудь старику ночью в лесу почудится горящая свечка на бугорке, указывающая, что здесь находится руда. И люди ходили в лес, проверяли щупом землю, пытались найти таинственный «бугорок», на котором якобы горела свеча.

Стариков, желающих выпить даровой водки, много было. Чтобы время от времени поугощаться, они распускали про себя слухи, что знают места, богатые железной рудой.

Увлечение разведкой объяснялось тем, что Бисерская дача изобилует мелкими образованиями бурых железняков, разбросанных по всей даче. В разnose можно встретить ее в любом месте, включенной в различные осадочные породы. Рудников с крупными скоплениями бурых железняков разрабатывалось всего восемь. Таковыми были Кырменский — самый мощный, далее Березовский, Ивановский, Вороновский с цепью одноименных рудников (один из них Усть-Вороновский даже с большим содержанием цинка), Видимско-Прокопьевский, Андреевско-Покровский, Тарситский, Михайловско-Мурашевский с богатым содержанием марганца. Всего открытых месторождений железных руд в даче насчитывалось свыше семидесяти. Кроме бурых, имелись железняки магнитные, красные и титано-магнетитовые. Последние не разрабатывались и не разведывались, так как они были включены в твердые кристаллические сланцы небольшими жилами.

Многочисленность рудных месторождений с разнообразными по качеству рудами немало причиняла беспокойства доменщикам. Руду пускали в доменные печи «на-глазок» без какого-либо анализа, что часто вызывало расстройство.

— Чего это домна зауросила? — разводит руками доменщик. — Как будто сып<sup>1</sup> дали ладно, а ее поносом износит<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Сыпь — шихта.

<sup>2</sup> Дает больше шлака, чем чугуна.

На некоторых рудниках «железные шляпы» покрывали колчеданы медносернистые, как например, Невидимский и Петровский. Койвенский рудник был даже золотосодержащим. В 50-х годах прошлого столетия в одной десятиаженной шахте добывали одновременно золото и железную руду. Впоследствии этот рудник был заброшен из-за воды, которую невозможно было отливать бадейками, а поставить хотя бы небольшой паровой насос хозяева считали невыгодным. Так и оставались многие рудники неразработанными.

Страсть к поискам железной руды у местных жителей была настолько сильна, что некоторые до старости бродили по горам со щупом, в чаянии найти «хорошую руденку». Сколько такого рода страстные разведчики покосились по горам и долам, пробивая щупом поверхность земли, кокая впустую шурфы в бесплодной мечте стать главой самостоятельной артели? Более понятна страсть искателей золота. Здесь случайное открытие богатого месторождения сразу резко изменяло положение «счастливца». В единый миг он становился «уважаемым человеком», мог задать на несколько месяцев «фартового куражу на весь мир». А искателю железной руды ее открытие сулило единственно — «свою работу». За старательский труд крепко держались уральские заводчики. Таким путем они получали дешевую и чистую руду без всяких хлопот и лишних затрат.

До половины 80-х годов руду обычно сортировали граблями. При этом методе свыше 30% руды уходило в свалку. То же получалось и при просеивании, так как ячейки сетки были очень крупными, в сантиметр размером, и отсевики также шли в свалку. Лишь с 1900 года рудничная администрация догадалась все отвалы, полученные после граблей и сеток, перемывать.

Кроме шурфов, руда добывалась еще «выходами», т. е. уклонными работами, когда руду из забоев выносили на поверхность носилками. Этот способ добычи был мукой для рабочих, особенно подростков. Нагрузят в носилки свыше 6 пудов, и тащи такой груз.

Тяжелая физическая работа, особенно горная, требовала правильного использования мышц. Например, при носке носилок или при просеивании руды в сетках нужно было держать руки не вытянутыми, а полусогнутыми, тогда мышцы укреплялись. Старые рабочие знали это, но нас, подростков, редко кто посвящал в тайну работы мышц. Я проработал на руднике уже года два, а еще не знал этого секрета.

Как-то во время просева руды подходит к нам один старик, посмотрел, как мы держим руки при просеве, и говорит:

— Вы не ладно, ребята, руки держите. Так вам тяжелее работать. Вот как надо их держать.

Взял у моего товарища ручки сетки, согнул в локтях и так же велел мне сделать.

— Ну, давай, теперь будем трясти.

Действительно, работать было легче. Старик заставил нас вдвоем поработать и, уходя, дал совет:

— Никогда в работе руки плетью не держите, а то они у вас будут, как коровьи хвосты.

Точно так же пришлось обучаться приемам работы кайлом, лопатой, топором, кувалдой и лесорубной пилой.

Казалось, что мудреного копать кайлом? Когда я стал работать забойщиком, зашел ко мне старый рабочий. Взглянул на мои удары и говорит:

— А ты чего это долбишь породу, точно ворона мерзлое дерьмо?

— Да я как будто, дядя Игнатий, сильно ударяю.

— Сильно-то сильно, но только без толку. Да и следы у тебя от кайла, точно сорока набродила. Дай-ка я покажу, как мужик должен копать.

Действительно, кайло в его руках заиграло ритмично, без особых усилий опускалось на стенку забоя ровными линиями.

После этого он еще рассказал мне секрет посадки кайла на черенок. Постепенно я усвоил законы удара кайла и

убедился в том, что ритмичность ударов вызывает меньше усталости и вместе с тем дает большую производительность. И следы кайла в забое перестали у меня походить на сорочьи следы.

Лопата тоже требует сноровки при работе. Чтобы она легко шла не только в мягкую породу, но и в твердую руду, ей нужно дать правильный изгиб ударом кувалды, половчей посадить, сделать черен с изгибом, чтобы излишне не нагибаясь, легко подхватывать руду.

Топор, казалось, острый, из хорошей стали, а не тут-то было — рубит плохо. Нужно знать, как точить топор, иначе он будет тяжело рубить и отшибать руки; как говорится: «Намашешь много, да нарубишь мало».

И пила требовала особого ухода за собой. Надо было уметь ее наточить, развести зубья, умело сделать ручки, иначе будет одно мученье, а не работа, а главное, приобрести сноровку при пилке — на пилу не наваливаться, а продергивать ее как можно легче. Все эти приемы работы с инструментом, их правильную присадку нужно было изучать с молодых лет, чтобы зря не затрачивать сил. У кого были отцы или деды, те получали уроки от них, а мне, как потерявшему рано отца, приходилось присматриваться к чужой работе. Две вещи я запомнил от отца: как точить пилу и как делать топорище, остальное постигал уже на практике.

Работа в забое требовала не только наличия физической силы, но и понимания, как строятся горные породы, чтобы знать, с какой стороны подойти к разборке пород. Нужно так разбирать или копать кайлом, чтобы не потерять слоев строения и все время держать их на виду. Неискушенные в этом люди, копая без соображения, теряли слои и затем лупили кайлом куда попало, каждый дюйм беря силой удара. Когда приходил опытный забойщик после такого горе-работного, он ругался:

— Какая это баба тут робыла? Весь забой заелозил, и откуда подбираться, конца не найдешь.



Иногда целый час уходил на обнаружение слоев, чтобы сделать подбойку, от удара обрушать породу глыбами, а не отрывать по маленьким кусочкам.

Особо опытные забойщики требовались при углубке шахт, проходке сыпучих и пловучих пород. Последние две особенно были опасны. Малейшая оплошность грозила не только жизни работавших, но могла вызвать порчу шахты, вывод ее из строя.

Надо сказать, что в те времена горная администрация была технически безграмотна, и выполнение опасных работ зависело исключительно от опытности и сообразительности рабочих-забойщиков. Даже в тех случаях, когда рабочие затруднялись и при опасной работе обращались к штейгеру за советом, они получали обычный ответ:

— Ну, как-нибудь, ребята, сделайте. Не упустите шахту.

Мне лично неоднократно приходилось, несмотря на молодые годы, выполнять на свой страх и риск опасные работы.

Один раз, когда мне было всего лишь 19 лет, штейгер отвел нам с таким же молодым товарищем опущенный забой, в котором верх обрушился куполообразно. Со словами: «Ну, ребята, закрепите забой и робьте», он оставил нас одних, не дав никакого указания, как крепить все время обрушавшийся забой. Посмотрели мы в зияющую пустоту, откуда все время отваливалась пласт за пластом порода, того и гляди, зашибет сверху. Думали, думали, как начать крепить, чтобы не задавило. Наконец, решили — я лезу кверху с доской и двумя тонкими стойками. До обрушения должен успеть укрепить их над своей головой. Так и сделали. Выбрав момент, я с кошачьей быстротой влез кверху и успел укрепить над собой доску, а дальше, в промежутки между падениями пластов, мой напарник быстро подавал мне материал крепления, и к концу смены мы сумели закрепить «колокол» («колоколом» у нас назывались куполообразные обрушения забоя). Как это ни удивительно, эта опасная работа даже не оплачивалась. Не только мы, но и еще две смены нашей

бригады работали даром, убирая породу, обрушившуюся сверху из забоя.

Попытались мы просить у штейгера:

— Иван Григорьич, ты положи сколько-нибудь за работу, мы ведь три смены робили задарма.

— А что я ронял забой, вам платить?

— Мы его тоже не роняли.

— А мне-то что, для себя забой крепили. Ничего, молодые еще, спина не переломилась. Робьте шибче, нагоните.

Что ж, пришлось нагонять даром отработанные три смены.

Другой случай был при разработке одного штрека в куполообразной выборке, разработанной в высоту около сажени и аршина два в ширину и длину. Я заметил сбоку вверх глыбу руды с полтонны весом, которая висела, едва держась. Я закричал всему товарищу вниз:

— Яшка, нам старики закуску оставили, как только мы ее съедем? Снизу ее не уронишь, а в выборке ронять — самого раздавит.

Залез и мой товарищ, говорит:

— Верно, Петька, штука замысловатая, надо щегеря позвать.

Пришел штейгер, поглядел на глыбу, ничего не придумал и сказал:

— Ну, как-нибудь спихните ее.

И ушел. Пришлось самим придумывать выход. Решили: я залезу наверх и буду в выборке один ронять глыбу.

Для этой цели я подвел под нее дощечку, на которой, скорчившись, устроился и постепенно стал ломом выворачивать глыбу из породы. Во время падения глыбы я каким-то чудом упал на нее сверху. Попади она мне на ноги, — от них бы осталось мокренько. Будь поразумнее штейгер, он не должен был давать такого глупого совета и подвергать нас риску быть задавленными. Всего-навсего нужно было израсходовать полпатрона динамита, и глыба была бы взорвана на куски. Весь расход на это выразился бы копеек в двадцать.

Впрочем, жизнь рабочего для шуваловской администрации была и того дешевле.

Помню еще один характерный случай. Штейгер поручил мне произвести отпалку 15 скважин, заложенных динамитом.

— Ты, парень молодой, бойкий, живо запалишь.

Я, действительно, быстро запалил все пятнадцать скважин. Едва я выбежал из последнего забоя, как начались взрывы в первых. От сильного порыва воздуха у меня погасла свечка. Я очутился в кромешной темноте, не успев укрыться в свободный от взрыва забой. Потеряв ориентировку, я впотымах упал на кучу накопанной руды. Прижавшись к ней, я со страхом ждал, что будет. К счастью, я упал на сторону кучи, противоположную взрывам, и меня только осыпало мелкими осколками.

По окончании взрывов я пошел ощупью искать выход. Около часу я бродил в темноте, задыхаясь в горьком динамитном дыму, пока не добрел до ствола шахты.

Воротовые рабочие уже беспокоились наверху: прошло столько времени, а я не даю сигнала к подъему.

Когда я поднялся на-гора, штейгер, не спросив, что было со мной, набросился на меня с руганью:

— Какого ты чорта столько времени делал в шахте и держал рабочих на подъеме?

Я ничего не сказал ему.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

В 90-х годах царским правительством были изданы кое-какие куцые законы по безопасности ведения горных работ, но это была лишь одна фикция. Окружной горный инженер для наблюдения за этими законами появлялся на наши рудники в два года раз и ограничивал свои посещения одной какой-нибудь новой шахтой. Иногда спускался в нее, а то просто подходил к подшахтнику, спрашивал у рабочих:

— Ну что, ребята, много вас убивается?

— Да всяко бывает, ваше благородие.

— Бережнее надо, ребята. Знаете ведь, береженого бог бережет, слушайтесь хорошенько начальства, меньше будет несчастных случаев.

После этого он отбывал в завод на квартиру управляющего, где за стаканом чая или рюмкой водки составлял акт. Из акта следовало, что «в железных рудниках графа Шувалова все обстоит благополучно, работы ведутся согласно горных правил».

Несмотря на то, что рабочие рудников были подвержены очень частым увечьям и калеченьям, в рудниках даже какой-нибудь чистой тряпки для перевязки ран не было, не говоря уже о самых необходимых лекарствах. Обычно при тяжелых ранениях рабочие завязывали раны своими же грязными портянками или рубашками. О врачебной помощи и не думали.

Раз я промахнулся и острым кайлом, только что насаженным на кайловище, нанес себе на ногу рану до самой кости. Вместо того чтобы позвать кого-нибудь на помощь, я снял с ноги портянку и ею перевязал рану. Вторичную перевязку я сделал только через три дня в бане, заменив портянку чистой ветошкой. Так и вылечил свою ногу, не обращаясь в больницу и не бросая работы.

Случались у многих рабочих и более тяжелые увечья, от которых они становились на всю жизнь инвалидами или медленно чахли и умирали.

О постановке медицинской помощи можно судить по тому, что в поселке с населением около 4 тысяч человек была крохотная больничка на 4 койки, с очень ограниченным набором инструментов и медикаментов. Обслуживалась она одной фельдшерницей. С головными болями не смели даже обращаться туда, боясь услышать окрик: «Вот еще нашелся барин, голова болит». Вообще в больницу обращались редко, а прибегали чаще всего к знахаркам.

Были среди них и такие, которые умели лечить.

Я знал одну знахарку по имени Кольчиха. У нее, как в хорошей аптеке средневекового врача, имелся большой

набор различных трав, корней, настоев на водке и различных соков. Например, при малокровии она давала настой железа. Для этой цели употреблялся игольчатый натек на буром железняке, по местному называвшийся «кровоавик». Кольчиха также применяла ванны для лечения ревматизма (профессиональной болезни горняков). В ванну клались известные травы, корни, или так называемая осинная кора. Широко использовался также муравьиный спирт, масло из мухоморов. При гнойных ранах знахарка употребляла еловую серу, имеющую свойство вытягивать гной и очищать раны. Словом, эта старуха использовала большой опыт народной медицины. Но таких Кольчих было, конечно, мало. Большинство знахарей составляли невежественные старухи или старики, лечившие «наговорами» или спрыскиванием с уголька. Была в большом ходу вера в «святую крещенскую воду».

Но самым надежным и верным средством от всяких болезней неселение считало русскую черную баню. Больного напарят что есть силы пихтовым веничком или натрут в сильном пару, на полке, редькой, потом, придя в избу, больной залезает на печку, укрывается потеплее и за ночь так вспотеет, что печка мокрая станет, да еще стакан водки выпьет с редечным соком, что называется, клин клином вышибет. Утром встанет освеженный.

— Ну, баба, от баньки полегчало.

Ушибы лечились мочою. От загрязнения доменной или угольной пылью, особенно при работе в углетомильных печах, были частыми глазные заболевания. Обычно глаза промывали по утрам детской мочой.

Даже такие серьезные вещи, как вывихи, сами лечили. Помню, привели в казарму рабочего с вывихнутой в плече рукой. Положили его на нары, двое уселись на него, а третий, здоровенный мужик, уперся одной ногой в нары и говорит:

— Ну, Матвей, держись хорошенько, руку на место вставлять буду.

Да как дернет больного за руку. [Рука с треском вскочила на свое место, а больной от нестерпимой боли сбросил с себя сидевших на нем мужиков. Его опять уложили на нары.

— Лежи, пока боли не пройдут, да покачивай понемногу рукой, чтобы кровь в суставе не застоялась.

Очень часто страдали рабочие болями в области живота от надрыва при поднятии непомерной тяжести, а большей частью от недоброкачественной пищи. Лечение было также упрощенное: при болях от надсады рабочие туго-натуго стягивали живот опояской, ложились на нары, подкладывали в центр живота свой кулак. При расстройстве желудка, при сильных болях также стягивались опояской и выпивали чашку воды, густо насыщенной солью. Народной медициной даже было изобретено приспособление при болезнях живота — небольшой глиняный горшочек, называвшийся «пуповик», на который больной ложился пупом; это были своего рода банки для отлива крови.

Самолечение прививалось нам с детских лет. Уже в детстве мы знали, что если наколем ногу или руку, особенно летом, то для того чтобы унять кровь, надо приложить к ранке листочки подорожника («бархат»), а если загноится, то привязать размягченную во рту еловую серу. При удушливом кашле курили сухие стебли крапивы.

Словом, спасались от болезней как могли и как умели.

В нашем заводике больничка существовала с крепостной эпохи. На содержание ее, на медикаменты отпускались гроши. Рабочие иногда выражали недовольство прописываемым лекарством:

— Ты чего мне даешь дешевые порошки? Давай тех, которыми служак конторских лечишь.

Убеждение рабочих, что их лечат не по-настоящему, приводило к тому, что они принимали за раз то, что было дано дня на три. Выпьет, на другой день является за второй порцией. Удивленная фельдшерица спросит:

— Как так, я ведь тебе давала на три дня.

— Да я все за раз выпил, чтобы полегчало. Видно, мало, дай еще.

— Да ты что, с ума сошел, десять порошков за один раз проглотил! Ведь умереть можешь от этого.

— Ну уж, умереть от ваших порошков. Если бы хорошие были, я бы уж давно здоров был.

При зубной боли принимались два радикальных приема — первый: закатить враспloh хорошую затрещину по щеке больного, а второй: выдернуть больной зуб с помощью двери. Делалось так: один конец сапожной дратвы привязывали к больному зубу, а другой — к дверной скобе. Кто-нибудь посильней выходил за дверь, а больной, упершись руками за косяки, ждал, когда раскроется дверь. Ждет, ждет своей операции, и вдруг летит турмаком за дверь за своим выдернутым зубом. Во избежание надлома челюсти заставляли голову запрокидывать назад, что бы дратва была в наклонном положении.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Наш завод был построен в 1789 году. Первоначально была одна доменная печь с суточной производительностью в три с небольшим тонны. К концу 80-х годов прошлого столетия она давала до 8 тонн. Само здание представляло собой башнеобразную постройку сажен 6 высоты, из дикого камня с куполообразной крышей. Поддоменник был деревянный, с деревянной крышей. На ней стояли деревянные бочки с водой для тушения очень частых пожаров, возникавших от искр домны или от брызг чугуна.

Для доменного дутья была построена деревянная машина, называвшаяся «меховой». Она действовала водой. Название «меховой» сохранилось от времен, когда доменные печи работали посредством кожаных кузнечных мехов.

Устройство воздуходувной машины было очень примитивно. Два вертикальных деревянных цилиндра, с деревянными же поршнями, приводились в действие системой деревянных зубчатых колес от деревянного же вала, водяного колеса.

Регулирование дутья проводилось уменьшением или увеличением поступления воды на колесо. Для этой цели стояла деревянная рейка с равномерно размещенными отверстиями, в которые закладывался железный стержень, закрепляющий рычаг от запора водяной трубы, шедшей из пруда. Горновой, или, как в то время назывался, «подмастерье», при перемене доменного дутья давал сигнал машинисту воздухоходной машины, называвшемуся «меховым»: «Сашутка, прибавь или убавь на три дырки». Словом, доменное дутье определялось не измерительными приборами, а дырками.

Сам «меховой» был скорее плотником, чем механиком, так как техническая его вооруженность заключалась в одноручной пиле, топоре, долоте и ведре с дегтем, которым он смазывал время от времени трущиеся части. Топором и долотом он исправлял ломающиеся части своей машины. На грядках, над печью сушились запасные части: зубья для шестерен, разные клинушки для закрепления зубьев и шестерен, а также березовые валы. Нам, ребятишкам, доставляло удовольствие забегать иногда в меховую, чтобы покачаться на поршнях, как на качелях.

Вся эта техника была упразднена лишь в 1890 году. Она была заменена паровой воздухоходной машиной, построенной в Екатеринбурге на заводе «Ятес» (теперь «Металлист»). В 20-х годах прошлого столетия были построены кричные печи для прокатки полосового железа, а в 70-х годах их заменили «пудинговыми».

Кроме обычных заводских отливок, было еще развито чугунолитейное производство предметов домашнего обихода: чугунок, сковород, всевозможных чайников, котлов, сухарниц, тарелок, вафельниц, печек для отопления комнат, шесточных, предпечных, половых, лестничных, могильных плит и узорных решеток для балконов, полисадников и могил. Литейные работы производились под домной же. Лишь для формовки мелких предметов была выстроена небольшая формовочная и в ней маленькая камера для сушки «шишек» и «сердечников».



Вся продукция летом сплавлялась сначала по реке Койве, а затем по Чусовой и Каме на Макарьевскую ярмарку. Сплав производился на небольших суденышках — «шитиках». Это были беспалубные барочки, поднимавшие до двух тысяч пудов. Сплав чугуна водой продолжался до 1900 года, когда нашли, что по железной дороге выгоднее перевозить. К этому времени провели железнодорожную ветку до завода Лысьва, продолженную впоследствии до станции Бердяуш.

Ликвидация литейного дела в начале 80-х годов XIX века явилась следствием расширения железопрокатного производства в заводе Лысьва, особенно кровельного, с развитием мартеновских печей.

Все материалы, оборудование, инструменты производились исключительно у себя на заводе, даже гвозди и те выработывались в своей кузнице на двух горнах. Единственно, что завозилось извне, это рудничные канаты, свечи для работы в шахтах, стекло. Словом, все было свое, доморощенное, даже лесопилка («пильна») и та была сделана из своих материалов и своими мастерами. Правда, это была очень громоздкая машина, грохот которой слышался за три версты. Производительность ее была мизерная, и она еле могла конкурировать с ручной распиловкой. Обслуживало ее всего два человека. Пока она распиливала дерево, рабочие успевали убрать напиленное и подготовить следующее бревно. Медленность ее действия объяснялась не только слабостью водяной силы, но также грубой примитивностью конструкции. Это была единственная механизация, введенная шуваловской администрацией за вековое существование завода.

Условия труда и техники, какие я застал мальчонком в заводе, почти ничем не отличались от эпохи крепостного права как на домне, так и под домной. Рабочие работали по двенадцати часов в сутки, без выходных дней. Переход из дневной смены в ночную происходил в воскресенье. Тогда дневная смена работала целые сутки, а другая была «гулевая», т. е. сутки отдыхала, а в следующее воскресенье, в свою очередь, отрабатывала сутки. Таким образом, десятки

лет люди не получали ни одного дня отдыха и работали, как заведенные часы, всю жизнь.

На домне в смену работало 9 человек: засыпка, двое подсыпок, два угленоса, три рудобойки и мусорник-мальчи́к, не считая коновозчиков, подвозивших на домну руду, флюс и уголь. Подсыпки нагребали в железные плиты руду и флюс. Взвешивали их на балансовых весах и по сигналу засыпки скидывали руками из плит в пылающее открытое отверстие домны. Угленосы сплетенными из черемухи коробками-«мерками» подтаскивали на руках уголь и ссыпали его прямо в домны. Засыпка, вооруженный березовым дрючком, равняя сваленную руду в уголь в отверстие домны, чтобы они ложились ровным слоем. После сработанной «калоши», т. е. очередной порции шихты, давался сигнал ударами в чугунный колокол. Таким способом «подмастерье» (горновой) узнавал, сколько сработано калош, и вел им счет.

Работа рудобоек была из самых трудных на доменной печи. Они должны были все двенадцать часов, как часовой маятник, взмахивать восьмифунтовыми чугунными балодками, насаженными на длинные березовые черешки. Особенно трудно доставалось им, когда руда попадала плохо обожженная. Долбят-долбят бедные и никак не успевают набить руды. Засыпка ругается, торопит: «Эй, живей, бабы, девки, пошевеливайся, калошу нечем робить!» Иногда более жалостливый подсыпка не выдержит женских слез, схватит кувалду и поможет рудобойкам набить руды и флюсу и этим даст им возможность хоть на десять минут передохнуть и съесть кусок ржаного хлеба всухомятку.

Работа мусорника заключалась в том, чтобы подметать на домне и в угольнике, но большей частью ему приходилось бегать по заводу, наряжать людей на работу, когда кто-нибудь не выходил. Особенно тяжело доставалось мусорникам в дни получек и праздников, когда были большие невыходы на работу. Они носились по поселку, высунувши язык, как гончие собаки, стуча палкой под окнами избушек: «Дяденька, не пойдешь ли на домне работать?» Получив отрицательный

ответ, бежал дальше. Так иногда пробегает всю ночь до утра в поисках охочих людей работать в праздник.

Оплата труда на домне была такая: засыпка получал 50 коп., подсыпка — 45 коп., угленосы — 40 коп., рудобойки — 25 коп., мусорник — 20 коп., коновозчики — 80—90 коп. вместе с лошастью.

Под домной состав рабочих был малочисленный: подмастерье (горновой), ученик, т. е. помощник подмастерья, и третий назывался просто «работник». Кроме поддоменных рабочих, еще работали литейщики. Количество последних зависело от имевшихся заказов на чугунные изделия. Но литейщики не были подчинены подмастерью, они подчинялись лишь надзирателю завода (по-нынешнему, директор). Кроме доменных рабочих, были еще подсобные рабочие: «поторжные», т. е. чернорабочие, занимавшиеся зимой уборкой снега от заводских зданий, летом очисткой мусора, ремонтом канав и другими мелкими работами.

Затем шла самая привилегированная часть рабочих — слесари, кузнецы, каменщики, столяр-модельщик, плотник, колясник (он же и по санному делу). Это была замкнутая группа, в которой профессия передавалась по наследству. Проникнуть в эту среду было до половины 90-х годов почти невозможно. Так у нас, на заводе, литейщики были двух фамилий — Пищальниковы и Дылгины, слесари — Гоголевы, Горбуновы, кузнецы — Чебыкины, Денисовы и Зеровы, плотники-колясники — Макушины, Гоголевы, столяры-модельщики — Кашины, Кондаковы, каменщики — Обатуровы, Лызовы. Они называли себя не просто рабочими, а «мастеровщиной», свысока подглядывая на своих собратьев. И нужно сказать, это были самые консервативные рабочие, строго следовавшие правилу: «С начальством не спорь, а угождай». Благодаря такому угодничеству администрация относилась к ним более снисходительно. Бесплатно пользуясь их услугами по своей домашности (приготовление разной посуды, обстановки и т. п.), начальство сквозь пальцы смотрело, когда «мастеровщина» в заводских мастерских из заводского

материала изготовляла на-сторону. Эти рабочие не допускали в свою среду посторонних лиц. Когда я попытался в 1896 году попроситься учеником в слесарку, то получил от управителя завода инженера Лупанова ответ: «Ничего, голубчик, не получится, никто из слесарей учить тебя не будет, у них свои дети!»

Они настолько ревниво охраняли секреты своей профессии, что даже не позволяли смотреть, как они делают.

Раз я остановился около слесаря, производившего припайку крана к самовару, и за свое любопытство получил такого тумака, что далеко отлетел в сторону. Оправившись, я спросил:

— Дяденька, ты пошто меня ударил? Я ведь далеко стоял, только хотел посмотреть, как ты прилепляешь кран.

— Я вот тебе еще посмотрю, чортов углан, будешь знать, как смотреть чужое дело. Иди учись копать руду, что твой отец делал, а не суй нос, где тебе не положено.

Долго я потом боялся подходить к «мастеровщине» смотреть, как они работают. Когда подрос, то уже не боялся получить за свою любознательность тумака, так как сам был в состоянии двойную сдачу дать. Даже когда потребность в квалифицированных рабочих стала возрастать, попасть в ученики также было трудно, если не имеешь родственников среди «мастеровщины». Отец моего друга по детству, а затем по революционной работе долго поил водкой одного столяра-модельщика, чтобы он взял в столярку его сына, а затем частенько еще угощал, чтобы тот хорошо ознакомил его со столярным искусством.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Царем и богом домны был доменный мастер. До 1897 года в его действия не смели вмешиваться ни управитель, ни надзиратель завода. Свое автономное положение доменные мастера сохраняли благодаря незнанию управителями качества местных руд и их правильной шихтовки, а также благо-

даря отсутствию даже самой примитивной лаборатории для анализа руд. Мастера, приобретая в течение многих лет искусство плавки руд, знали тайну шихты и, ни с кем не делась, крепко ее держали про себя.

Недалеко от нашего домишка жил мастер Петухов Илларион Михайлович. Несмотря на то, что он был совершенно безграмотный человек, знал отлично доменное дело. Он управлял домной по ее выходящему газу. Поглядит иногда утром с похмелья в окно и говорит своей жене:

— Марья, беги к подмастерью, пусть переменит сыпь, а то, видишь, окаянные без меня домну испортили.

И передает ей на словах:— пусть сыплют кырменской столько-то пудов, вороновской, висимской, березовской по столько-то и флюсу сбавят, угля добавят мерку или полмерки.

Бежит его Марья, такая же безграмотная, дорогой пуды и сорта руд перепутает.

Подмастер выслушает, видит, что напутала Марья, переспросит:

— А ты, Марья Семеновна, не перезабыла наказ Лариона Михалыча? Что-то несусветное ты сказала, отродясь такой сыпи не видывал.

Но Марья, как мастерица, войдет в начальнический раж:

— А ты, мужик, поменьше умничай, делай, как велят!

Попытается подмастер кой-какие коррективы внести в нелепую шихтовку, данную Марьей, но безуспешно, домна продолжает дурить, приходится посылать за Петуховым. Тот, опохмелившись, налетает ястребом на подмастера и засыпку, что, такие-сякие, мне домну испортили, почему сыпь даете не такую, какую я вам через Марью велел.

— Да, Ларион Михайлович, она очень чего-то несусветное говорила, уму непостижимо.

Убедившись, что жена все переврала, Петухов задает ей очередную трепку.

Доменные мастера не только любили просто покуражиться над народом, но многие из них использовали свое положение в своих личных целях. Несчастные рудобойки были в полной

власти мастеров. И нередко в ночную смену доменные рабочие были свидетелями диких сцен со стороны пьяных мастеров, требовавших ту или другую рудобойку к себе в конторку. Женщины шли, опустив головы, под злые насмешки какого-нибудь охальника:

— Что, девка, к причастию мастер зовет.

Попасть в подмастерья или в подсыпки было трудно и обходилось недешево. Не один десяток раз нужно было пригласить мастера на пельмени с водкой. Если литейщики забывали своевременно его угостить, то мастер брал с них «хабару». Литейщики работали сдельно, и их заработок зависел от качества выдаваемого домной чугуна. Наформируют отливок и сидят день, сидят два, а иногда больше, а домна все не дает литейного чугуна. То идет белый, полубелый, графитистый, а литейного все нет и нет. Спросят мастера:

— Что же это, Ларион Михайлович, скоро ли домна выздоровеет? А то уж мы давно сидим без работы.

— А чего я поделаю, видите сами, что ее несет поносом, как старую кобылу. Руды вот нет такой, помягче, а то давно бы вылечил.

Литейщики начинают догадываться, какой ей руды недостает.

Был один старик-литейщик, Сергей Дылгин, знавший доменное производство не хуже любого мастера. Глядит он, глядит в окно на доменный газ во время вынужденного безделья и говорит своей жене:

— Ну, старуха, крепись, не крепись, а домну лечить надо, а то кусать нечего будет. Иди в лавку, купи мяса и крупчатки да стряпай пельмени. А я схожу в кабак за штофом водки, да вечером будем домне брюхо лечить.

Вечером Дылгин угощает мастера пельменями, и на другой же день мастер дает хороший чугун, литейщики заливают формованные изделия, и домна начинает работать нормально, как ни в чем не бывало. Доменный мастер давал указания и рудничной администрации, с каких рудников брать руды и сколько в отдельности с каждого. В 1896 году вместо тех-

нически безграмотных надзирателей появились у нас на заводе техники из Нижнетагильского горного училища.

Пока молодые техники со скудным все же образованием овладевали практикой, Петухов успевал над ними покуражиться. Один раз он пришел пьяным на домну, и его уволили. Он, видя, что они еще не постигли искусства плавки чугуна, уходя с домны, погрозил кулаком:

— Ладно, сукины сыны, еще придете, поклонитесь мне.

Его угроза оправдалась. Через два дня у техника-смотрителя завода в домне стал садиться «козел» (посадить «козла» у доменщиков значит заморозить доменное горно; застывший в нем чугун видом своим напоминает как бы сбитые в кучу рога). Пришлось посылать за Петуховым, чтобы спасти домну. Но старый мастер заупрямился, потребовал, чтобы подали лошадь.

— Пешком не пойду.

Послали лошадь, он потребовал пару.

— Пятьдесят лет к домне пешком ходил, не годен стал, теперь подавай пару!

Что ж, пришлось технику послать пару коней. Но Петухов, прежде чем прямо ехать в завод, приказал взять его по базарной улице, чтобы все видели, как он свою «насердку» срывает над смотрителем, хотя от его квартиры до домны было всего пять минут ходу. А приехав на завод, поставил новое условие — пока он будет с домной «отхаживаться», смотрителя чтобы на заводе духу не было. Пришлось технику и это испытать.

Старик Петухов закончил свою жизнь сторожем.

В 1900 году такой же казус произошел уже не просто с техником из горного училища, а с горным инженером Модзалевским, получившим образование во Франции. Приехав к нам в Бисер, он добился от главного управления Шуваловских заводов разрешения на реконструкцию старой домны, чтобы довести ее суточную производительность с 1800 до 3500 пудов. Он реформировал горно, а также удлинил ее высоту на 11 футов. Когда домну перестроили, руководство ходом

ее он взял на себя лично. Задули, подходит время давать первый выпуск чугуна и о результатах немедленно телефонировать в Лысьву управляющему округом. Но, увы, из летки, когда подмастер пробил отверстие, чугуна вышло с вачегу и больше ни капли. Сколько ни просил Модзалевский: «Бейте хорошенько, братцы, пробейте стиль», но лом от ударов кувалды из летки отскакивал, как пробка. Взялся пробить летку сам Модзалевский, но от его ударов получался один пшик. Видя, что положение безнадежно, он обратился со слезами к рабочим:

— Братцы, что это такое? Почему чугун не идет?

Тогда один из братьев Широковых, уроженец Нижнего Тагила, говорит ему:

— От того, Иосиф Владиславич, что вы нас не хотели слушать, когда домну засыпали, вот отчего.

— Так что теперь делать, ведь для меня зарез, если козел сядет?

— Домна может пойти, если вы к ней прикасаться не будете и в завод не покажетесь до тех пор, пока она настоящей не пойдет.

Пришлось Модзалевскому подчиниться требованиям мастера Широкова.

— Если спасешь домну, Иван Анисимович, отблагодарю тебя.

— Без благодарности отходим, она нам больше нужна, чем вам.

И ушел инженер, обескураженный своим неудачным дебютом. Пока братья Широковы возились с домной, с ним чуть тихое помешательство не приключилось. Братьям Широковым пришлось целые сутки, не отходя от домны, провозиться с ней, так как «козел» садился солидный. Фурмы, не только шлаковая, но и для дутья, застыли, пришлось пробивать новые отверстия выше, чтобы разогреть застывшее горно. Спасли домну, а вместе с тем и служебную карьеру Модзалевского. Он, наученный горьким опытом, больше не стал вмешиваться в распоряжения доменных мастеров и смотрителю завода технику Толстову наказал:



— Вы, Дмитрий Лукич, не мешайте мастерам. Они лучше нас знают, как домной управлять.

Действительно, как управитель, так и смотритель приходили иногда под домну или на домну, чтобы внушительней напомнить рабочим, что начальство над ними есть. Для триличия возьмут в руки кусок руды или чугуна, бросят две-три фразы, если чугун серый, литейный:

— Хороший чугун, сколько выпуск дал?

Получив ответ, пробормочут:

— Хорошо, хорошо, нужно стараться.

А если чугун передельный белый или полусерый, то спросят:

— А почему такой?

Мастер или подмастер хладнокровно дают всегда один и тот же готовый ответ:

— Кырменской руды не было.

Беспомощность управителей и смотрителей даже в 900-х годах объяснялась тем, что доменное производство на заводах Урала велось «на-глазок» и основывалась лишь на практике доменных мастеров. Анализ на качество руды не было. У мастеров были свои определения и термины по рудам: «легкоплавкие», «тугоплавкие», «кубристые», «едучие». Последнее название относилось к руде, содержащей цинк. Когда ее пускали в шихту, то она разъедала горно, и натеки цинка стекали по наружным стенкам его.

Около 900-х годов была организована небольшая лаборатория для анализа руд, доменного газа и чугуна. Анализировали их только на содержание окиси железа и на вредные примеси: кремний, фосфор, серу и все. Какие еще компоненты несли в себе руды — не интересовались. Даже руды с большим процентом марганца шли за обычные.

В конце 90-х годов наши домны были реконструированы: вместо «пожогов» для обжига руды были построены рудобжигательные печи Мозера, работавшие на доменном газе. На газе же работали паровые котлы для обслуживания воздуходувной машины, воздухонагревательные аппараты Мо-

зера. Были сделаны и другие усовершенствования — построен подъемник на домне, «плицы», и мерки-коробки были заменены вагонетками.

С устройством закрытого колошника не стало невероятной жары. Рабочих перевели на три смены.

Несмотря на переход на трехсменную систему, условия труда рабочих ухудшились. Если раньше при холодном дутье в сутки срабатывали около 40 колош, то при горячем дутье стали вырабатывать по 120. При этих условиях кусок хлеба съедали на-ходу. Работу на реконструированной домне никак нельзя было сравнить с работой на старой домне. Раньше рабочие, собираясь на 12-часовую смену, брали с собой на обед туесок капусты или кислого молока, соленых грибов, а то проще-фунтов пять картошки, которую употребляли или в виде печенок, вынутых из горячей золы, около колошника печи, или в виде незамысловатой похлебки, сваренной в чугунном котелке. На случай тихого хода домны прихаживали с собой еще лыко для плетения лаптей. Любители рыбы брали с собой удочки поудить в пруду окуньков.

На рыбной ловле во время смены один рабочий даже утонул. Дело было летом, под утро, домна шла очень тихо. Рабочий, по прозвищу «Воробышко», ушел на площадку и в смастеренном им плотике удил рыбу. Задремал ли он, и приснилось ему чего-нибудь, или почудился грозный окрик начальства, но только Воробышко нырнул с плота в воду и камнем ушел на дно. Пришло время засыпать колош. Засыпка стал звать рабочих:

— Михайло, Ванька, Гришка! Айда колошу роби! Пришли Ванька с Гришкой, а Михайлы нет, бросили на плотину, смотрят — плавает плотик по пруду, на нем котелок и головня, на которой сидел рыболов, да плавающая около плота удочка.

Тихий ход домны периодически происходил в конце зимы и в середине лета, когда воды в пруду не хватало для действия «меховой». В это время года домна не работала, но не останавливалась. Иногда из-за мелководья летом домна

останавливали недели на две на горячую консервацию. Время от времени приходили рабочие подсыпать угля. На время консервации рабочие распускались на сенокос.

Во время крепостного права, при консервации домны, рабочие посылались на сенокосение для заводских лошадей и служащих. Этот обычай сохранился и после отмены крепостного права вплоть до революции 1917 года. Вся администрация заводская, рудничная и лесничества прибегала «к помощи» рабочих. За месяц до сенокоса служаки начинали делаться ласковее с рабочими.

— Ты уж, братец, помоги сенца поставить для скотинки!

Кончался сенокос, администрация забывала об оказанной рабочими помощи.

После реконструкции домны в конце 90-х годов заработок немного повысился — от 40 коп. до 60 коп., но это достигалось не поднятием посменной оплаты, а введением потогонной — премиальной системы. Предельная шкала выплавленного за половину месяца чугуна была установлена в три тысячи пудов в сутки, а что свыше, то засчитывалось в премию. Раньше бывало доменный мастер, отдавая суточную рапортичку смотрителю завода, с торжеством заявлял:

— Ну, Дмитрий Лукич, сыпанули седни доменные, сорок две колоши дали!

После реконструкции показатели исчислялись в 125—130 колош. Вес шихты также иной, прежде он измерялся в 20—22—25 пудов, а теперь, при горячем, в 36—40 пудов. Рабочих же добавлено было лишь на одну треть. Получалось: одна смена срабатывала больше, чем раньше в сутки.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

В 1899 году я работал на доменной печи на подкатке руды. Бывало всю смену носишься, как угорелый, а над собой тогда дело слышишь:

— Эй, вы, черти, ворочайтесь живей, а то колоша уходит.

Иногда еще как назло зайдет отставной старик доменщик  
брякнет:

— Чего вам, ребята, теперь не работа, одно прохлаждение. Отробил восемь часиков, а шестнадцать погуливал не то, что мы ране двенадцать отбухивали.

Огрызнешься, несмотря на все уважение к старости:

— Хорошо было вам, старым хрычам, лапти плести. Попробовали бы сейчас поработать. Как собака, кусок хлеба находу глотаешь, не прожевавши.

Новые условия труда, реконструкция завода были следствием того, что юг России развивался, давил своей конкуренцией на демидовско-шуваловский Урал. Уральские магнаты, ежась и кряхтя, были вынуждены пойти на кое-какие расходы по реконструкции, чтобы спасти свои заводы от гибели. Но в общем «реконструкция» велась за счет увеличения физической нагрузки рабочего.

Последствия этой реконструкции мне пришлось испытать, когда я работал подкатчиком руды к рудообжигательным печам Мозера.

Двум подкатчикам нужно было взамен лошади нагрузить и подкатить за полтора-два метра 35 полутонных вагонеток за смену, т. е. около 18 тонн. Не так уж тяжело было бы набросать одному 9 тонн руды в вагонетки, откатить и свалить их в печи, если бы железные дорожки к рудным отвалам содержались в порядке. Но они были построены очень примитивно, рельсы на них были слишком легкие и прогибались при прохождении вагонеток. Для приведения в порядок этих дорожек был поставлен плотник, по прозвищу «Шаньга». В руднике он бывал только днем; где костыль забьет, где шпалу подколотит — и все. Особенно тяжело было работать в ночную смену: освещения никакого не было, вагонетки нагружали наощупь. Между тем в заводе уже было проведено электричество. Для рудных же отвалов освещение считалось роскошью.

— Ладно, руду нагреть можно и впотьмах, — рассуждала администрация завода.

На подкатку руды к рудообжигательной печи меня перевели осенью 1899 года. Это было сделано из-за того, что я не догадался сделать доменной администрации «подношение». Моя новая работа оказалась хуже каторги. Осень была ненастная, ночи темные, что называется, зги не видно, железнодорожные пути разбиты и совершенно запущены «Шаньгой».

Так я проработал на пару с одним стариком недели две. Однажды выпала адская ночь, темная, дождливая. Костры, разводимые для освещения, никак не горели, к тому же отвалы находились сажени за 2—3 от дорожки, и нужно было быть жонглером и обладать кошачьим зрением, чтобы в абсолютной темноте подкидывать руду с лопатки в вагонетку. Кое-как с горем пополам удавалось нагрести, еще больших трудов стоило откатить руду к печи, так как в темноте приходилось катать вагонетку наугад. Часто, не рассмотрев опасного места, я летел турманом вместе с вагонеткой. На боль обращать внимание было некогда. Стремясь скорей поставить на рельсы вагонетку, я не раз один поднимал около 40 пудов, прибегая к помощи заборины в качестве архимедова рычага.

Бились, бились мы со стариком, но печи заполнить не смогли, хотя сами от усталости еле на ногах держались. В шестом часу утра прибежал помощник смотрителя завода, увидел наполовину заполненные печи и, как цепная собака, накинулся на нас с отборной руганью;

— Эх, лодыри, растуды вашу мать, что вы печи мне не заполнили? Оштрафую вас на три дня!

Ну, уж тут мы не стерпели. Схватили лопаты в руки и в свою очередь кинулись на него. Он от нас, мы за ним. Наконец, где-то под домной скрылся он от нас.

— Ну,— говорю своему товарищу,— видно, нам с тобой, Иван Яковлевич, больше не робить в заводе?

— Эка беда, вались они со своим заводом, лучше в курень дрова рубить пойду, чем такую муку терпеть.

И верно, в тот же день администрация нас изгнала, как грешников, с завода, без права поступления.

Мой товарищ в курень не пошел, а устроился сторожем в Теплогорском заводе. Я потыкался туда-сюда, никуда не принимают, как «буяна», осмелившегося кинуться с лопатой на начальство. В шестнадцать лет много рассуждать было некогда. Пришлось итти в курень.

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

К этому времени брат мой оказался без работы. Мы решили: в курень, так в курень — надо что-то делать.

Получив в конторе лесничества несложный инструмент — пилу и топоры, мы с братом нагрузили на себя котомки с ковригами ржаного хлеба и картошкой и к вечеру пришли в отведенный нам курень усталые, голодные и измученные.

Дело было поздней осенью, в воздухе уже летали «белые комары». Спрашиваю брата:

— Санко, как будем ночевать?

— Ладно, беги за водой, сварим картошки да чаю. Потом подумаем чего делать.

При свете костра мы высмотрели ветвистый кедр, между его корней нашли местечко посуше, устлали его ветками пихты, и логово для ночлега было готово.

Утром стали решать, что раньше делать: строить себе хоть какое-нибудь жилье или раньше нарубить дров, чтобы иметь заработок на выписку продуктов. Решили рубить дрова. Потом выделили один день на устройство себе жилья. Но что в один день можно было построить? Поставили две рогатки под развесистым кедром, положили на них жердочки, сверху наложили наколотых из валежника досок, с боков чтобы не продувало, обложили хвоей. Словом, к вечеру у нас был «дом под кедром».

Пришло время приемки дров. Явился куренщик.

— Ну, показывай, чего нарубили!

— Да вот, Ефим Яковлевич, наши поленницы.

Не зная законов куренщиков, мы были поражены результатами приемки: у нас не осталось почти ни одной поленницы

е подвергнутой «скашиванию». Попытались мы с братом ротестовать против такого произвола:

— Да, что ты, Ефим Яковлевич, столько у нас скостил? Ведь мы даже больше меры выкладывали поленницы, и оленья расколоты по правилу.

— Вы чего это, еще учить меня вздумали, как дрова принимать? А это что? — ткнул он бадогом<sup>1</sup> — гляди, бадог квозь поленницу лезет. А вон в этой поленнице полено ситовиной<sup>2</sup>, а здесь полено на полвершка толще противу становленного. А еще зубы посмели выставлять против оего замера! Говорите спасибо, что я еще мало скостил, галеючи вас.

Мы промолчали. Может быть, куренщик и прав. Видно, е настоящие мы еще дроворубы. Трудно, конечно, так сложить полутораметровые дрова в поленницы, чтобы в щели между поленьями не пролез бадог куренщика.

Рядом с нами работала артель татар. Пошли мы с братом мотреть, как у них будет принимать дрова куренщик. К нашему удивлению, здесь он принимал поленницы на-глазок, только для приличия.

Покричал немного: тут неладно, там нехорошо. Старик-атарин, старший в артели, в ответ сказал:

— Ничего, бачка, принимай, Мы мала-мала поправим. И крикнул молодому:

— Эй, малайка, тащи полено! Бачка ругает—мало клал.

Когда куренщик ушел, мы спросили старого татарина:

— Скажи, знаком, сколько у вас он скостил?

Оказалось, куренщик не скостил с них ни одной осьмушки, хотя дрова у них были сложены хуже, чем у нас. Причина была в том, что мы, новички, нарушили лесной обычай.

— Когда дрова сдавать, нужно в завод гулять,— сказал.

---

<sup>1</sup> Бадог — палка, мера полсажени длиной и дюйма полтора толщиной.

<sup>2</sup> Ситовина — небольшая загниль.

нам татарин — Бутылка водки тащить, тогда он дрова ши́ хорошо принимает.

После мы узнали, что у каждого куренщика всегда было несколько дроворубов, с которыми он обделывал свои делюшки. У лесорубов-новичков, вроде нас с братом, куренщики браковали часть дров и приписывали их тем артелям, с которыми находились в сделке. За излишние дрова артели получали в конторе деньги и передавали ему. За эту услугу куренщик отводил им лучший лес и проводил льготную прику, иногда угощал водочкой «за труды».

Кроме этой статьи доходов, у куренщиков было еще одно монопольное право на выпечку хлеба дроворубам. Хлеб платили они «пуд на пуд», т. е. за пуд муки рабочие получали 1 хлеба. Но что это за хлеб? У доброго хозяина и собаки несли бы его есть. Попробует иногда дроворуб пообидеться качеству хлеба:

— Какой, хозяйюшка, хлеб закалистый, от зубов нестает.

А ему в ответ:

— Что я вам, окаянным, сдобные булки должна пел. Не барин, сожрешь, если хорошо поробишь.

Попадались, конечно, совестливые хозяйки, но ред. Имелась еще статья дохода — обвес в продуктовом магазине, находившемся в ведении тех же куренщиков. Зда были «облегченные» гири, весы, отрегулированные гайками или подковами. Бороться с этим злом было бесполез. Единственное, что могли сделать дроворубы, — это переел в другой курень, где куренщик «по-божески» наживал доход, чересчур не хапал, чтобы сохранить за собой славу «хощего мужика» среди дроворубов.

Я знал несколько куренщиков, которые после десяти пятнадцати лет службы, скопив капиталец, открывали калейные лавочки.

О работе лесорубов можно сказать так: надо бы куда некуда. Особенно донимала нас измерительная система при рубке дров, так называемая «куренная сажень».



и когда изобрел ее — неизвестно, но знаю, что она сохранилась еще от времен крепостного права. Она равнялась 20 кубометрам или 1,8 кубической сажени. Недаром по адресу куренной сажени выражались: «Чорт ее мерял и веревку порвал». За рубку дров «куренной сажени» платили 3 рубля, на более худом лесу — 3 р. 20 или 3 р. 15 коп. Чтобы заработать 60—70 копеек в день, нужно было проработать не меньше 16 часов в сутки. Правда, средняя норма выработки в день считалась два бадого или полсажени. Бывали, но очень редко, дроворубы из зырян, ухитрявшиеся за 18 часов нарубить вдвоем 5 бадогов, т. е. сажень с четвертью или 25 кубометров.

Нужно учесть при этом, что дроворубы, свалив уйму деревьев, должны были очистить их от сучьев, распилить, расколоть, сложить в поленницы, и после этого сжечь на кострах все сучья, которые, кстати, служили освещением при ночной работе. После 16 часов адской работы дроворубы принимались варить себе ужин, точить пилы, топоры, чтобы рано утром выйти с острым инструментом.

Особенно трудно было весной и осенью. Во время таяния снега целый день бродишь в снеговой воде, шлепая мокрыми лаптями. Осенью работаешь под холодными проливными дождями. Едва просушив за короткий отдых онучи и верхнюю одежду, идешь на работу, как приговоренный к каторге.

С каким бы удовольствием пересидел в балагане непогоду, но нужда гнала: каждый пропущенный день грозил еще большей нуждой не только семейному, но и одинокому.

Наша работа в курене прервалась совершенно неожиданно.

В одну из холодных осенних ночей мы развели с братом большой костер, чтобы не замерзнуть в своем балагане. Ночью костер разгорелся от ветра, и наш балаган моментально был объят пламенем. После тяжелой работы мы спали очень крепко и неизбежно сгорели бы с братом, но, к счастью, мне на лицо упала горящая ветка хвои. От боли я проснулся. Мы еле успели выскочить из пылающего кольца, схватив лишь впопыхах свою «лопотину» и лапти. В балагане сгорела

пила, котомка с хлебом, у меня один сапог и шапка. Посудили, порядили с братом: нет, видно, домой надо итти. И мне пришлось 12 верст отшагать босой ногой по выпавшему в ту ночь снегу.

Больше я уже не пытался стать дроворубом. Но ряд лесных профессий еще испытал — был дрововозом, сгонщиком леса и дров на лесосплаве. Узнал, сколько горя несло с собой куренное полено, какое наглсе жульничество и надувательство производилось в лесном деле.

За счет дроворуба наживались многими способами. Одной из доходных статей была, например, сделка с поставщиками продуктов и инструмента для лесных рабочих. Поставщики-торговцы сбывали по повышенной цене всякие недоброкачественные продукты, договоренный процент от полученных барышей они отдавали лесничему.

В июне-июле ежегодно приезжали деревенские кулаки договариваться с лесничим о вывозке дров для сплава. И опять заключалась хитрая сделка. Договорившись, кулаки вербовали на вывозку маломощных середняков или однолошадников и, кроме того, на своих лошадях привозили батраков. Коновозчикам назначалась «божеская цена» (конечно, никто не знал сколько получал кулак за перевезенную «куренную сажень»). Эта «божеская цена» уменьшалась к тому же комбинациями с верстами, которые, обычно, удлинялись до 600 или 700 сажен, благо проверить никто не мог. Возила беднота дрова и удивлялась тому, что в Бисере, судя по выкуренным «цигаркам», версты длиннее, чем в деревне.

Заикнется иной дрововоз перед своим подрядчиком:

— Чего-то, Степан Федорыч, шибко версты-то длинные.

— Эх ты, вздумал сравнивать наши деревенские со здешними. Вишь, здесь все горы, вот и длиннее кажутся.

Для большего убеждения еще добавит:

— Вы только, мужики, молчите. Я насчет верст обжулил контору. Угостил куренщика, он показал больше верстов, чем есть.

И мужики верили, говорили: «Спасибо».

Пользовался лесничий еще «прирубом» дров, получавшихся от приклада «на усушку». Результаты «прикладов» также попадали в его карман.

Особой статьей, правда, уже не наживательства, а личного удовлетворения, было использование жен куренщиков.

Был у нас лесничий, который прежде чем принять куренщика на службу узнавал—красивая ли у него жена. В зависимости от этого он и давал ответ.

Бывали случаи, когда мужья насильственно принуждали своих жен к сожительству с начальством. Кто знает, что происходило в одиноком домике в глухом лесу между лесничим и женщиной, отданной своим мужем для насильственных ласк?

Такой же доле подвергались некоторые из жен «жигарей», т. е. мастеров по углежжению. Я знал одного жигаря, «просватавшего» свою жену лесничему. Помню еще в детстве, как его жена почти каждое утро, принарядившись, бегала на квартиру к лесничему, вызывая злые насмешки у женщин:

— Глядите, бабы, Анна побегла, скоро лесничий встанет!

По натуре это была очень скромная женщина. Она ни с кем не ссорилась, безропотно сносила обидное название — «пристяжная лесничиха». И зачахла не дожив 30 лет. Молча жила, молча умерла.

Куренщики, руководившие работой по сплаву, наживались еще, «экономя» водку, выдававшуюся рабочим по два стаканчика на день. Размеры стаканчиков никто не проверял, ведомостей отчетных не составлялось; куренщики отчитывались в расходовании водки по количеству рабочих. А как они обманывали, это знал лишь лесничий.

Условия работы по сплаву дров и деловой древесины были кошмарные. Работу начинали с четырех часов утра, кончали при закате солнца, т. е. часов в десять-одиннадцать. Ни спецодежды, ни палаток, ни кашеваров не полагалось. У редких рабочих были свои сапоги, большинство работало в лаптях. Отработаешь часов шестнадцать и усталый, вышедший до ниточки, устраиваешься на ночлег, где ночь

гала. Прежде разведешь костер (у огня хоть немного обсушиться), затем готовишь себе ужин. После того нужно сделать хоть какой-нибудь шалаш из хвои, из хвои же устроить постель, чтобы не лежать на мокрой земле. На все это уйдет часа два, на отдых остается не больше часов четырех. Не успеешь поспать, как слышишь крик куренщика:

— Вставай, ребятушки, вставай, молодцы, на работу пора.

Наскоро «пошвыркаешь» чайку с хлебом и лезешь в ледяную воду на целый длинный весенний день.

Оплата за этот труд была мизерная. Береговые рабочие получали всего 70 коп., «заторщики» от 1 рубля до 1 р. 20 коп.

Работа заторщиков была самая отчаянная и рискованная, так как на горной бурливой реке при разборке лесного затора малейшая оплошность грозила гибелью. Нужно было обладать способностью канатного плясуна, чтобы прыгать с дерева на дерево, увертываясь от падающих деревьев, поставленных во время затора не только костром, но и стоя. Поневоле запрыгаешь эквилибристом, когда на тебя валится масса в 13 аршин длиной и аршин в отрубе. Попади под нее — лепешка от тебя останется. Не успел во время пропуска затора выбежать по деревьям на берег, вскакиваешь на первое попавшееся дерево и, стоя, плывешь на нём, управляя багром, чтобы не влететь в бурный водоворот у скалы. Попал в водоворот, ну и поминай как звали. «Шитиков», плоскодонных лодок впереди затора не было. Рабочему-заторщику было предоставлено право: «Спасайся как можешь, зато рублевую плату получишь».

Мне на сплаве леса пришлось проработать две весны в 1904 и 1905 годах в качестве заторщика. Хватил, как говорится, всего: тонул несколько раз, два раза деревья по мне проехали. Но все же отделался дешево — утонуть не утоп, болезней простудных не схватил.

Очень много гибло рабочих на реке Усьве, верховья которой принадлежали в то время Шувалову. Администрация

к гибели рабочих относилась, как к обычному бытовому явлению. Объяснялось это тем, что на лесоразработки, а также и на сплав набирались большей частью беспаспортные, бездокументные люди. Кто они, откуда — лесничество не интересовалось. Куренщикам совсем лафа была от таких рабочих. Грабили их без зазрения совести. Беспаспортные были буквально на положении колониальных рабов. На самую смиренную просьбу они получали плантаторский ответ:

— Ты чаво, бездомная собака, хайло разинул? Хлебом тебя кормят и говори «спасибо», а то вот отправлю к уряднику узнаешь, где кузькина мать.

Знал хорошо урядник Промысловской волости, что на шуваловской Усьве много работает беспаспортных, но благо-разумно молчал: выдаваемые ему 50 рублей «праздничных» в год завешивали уши и глаза. Шум бурных вод Усьвы служил отпеванием погибшим людям, а брякающие в кармане урядника рубли — похоронным звоном.

Не было никакой заботы о рабочих, даже бани, хоть черной, не построили. Рабочие после окончания работы, пропитанные насквозь угольной пылью, шли в казарму, поужинав картошкой с хлебом, валились спать на голые грязные нары.

В 1899 году после неудачной работы в курене я поступил с братом к углетомительным печам. Через две недели, не выдержав адских условий, мы ушли. Да и жена брата запилсила:

— Нашли же работушку. Всю избу изгадили, не могу промыться за вами, точно в казарме.

Пришлось мне еще поработать с месяц на лесосплаве по выгрузке дров. Механизации, конечно, никакой не было. Выгружали мы дрова сдельно по 1 руб. — 1 р. 20 коп. с куреной сажени с вывозкой на плотбище. Пешие рабочие, укладывавшие дрова на берегу, получали по 50 копеек с сажени. Работа была тоже не из приятных. Намокшие в воде тяжелые дрова приходилось высоко класть, а иногда и далеко их подтаскивать к поленнице. Чтобы заработать 70—80 коп., нужно было затратить много времени и сил, да и одежда очень рва-

лась. Проработав часов двенадцать, весь мокрый, в грязи от речного ила, возвращался я с работы домой. Тут уж, несмотря на летнюю пору, бывало не до гулянки с девчатами. Кое-как поев, бросался я скорее спать. Словом, шуваловские слуги умели вытягивать из рабочих жилы до отказа.

Кое-какую механизацию по выгрузке дров стали вводить в 1899 году — устроили несложные элеваторы, но они в общей выгрузке дров занимали не больше 25—30 %, остальное тянули человек и лошадка. Многие рабочие, работавшие на выгрузке дров, преждевременно сходили в могилу, не доживши до 50 лет, или становились инвалидами, скрюченные жестоким ревматизмом.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Лишь самая отчаянная нужда загоняла рабочих к углетомительным печам. Жигари наживались на рабочих от различных размеров углетомительных печей системы «Шварца». Строили их тоже без всяких чертежей, и размеры зависели от того, как плотники построят остов печи и столбы, служившие одновременно основанием крыши и пилястрами для укрепления кирпичной кладки самих печей. Жигари работали с так называемого «короба». Короб содержал 10 «казенных мер», а «мера» в свою очередь — один кубический аршин. Дрова от пристани они принимали на куренные сажени, а сами отчитывались перед лесничеством «коробами». Уголь сдавался в заводские угольные сараи, где его принимал заводский углеприемщик со своим помощником.

Сдача угля заводу была для жигаря серьезным испытанием: он мог на этом либо нажать капитал, либо пролететь в трубу — это зависело от его умения получить хороший «прижог». Горе было тому жигарю или кучекладу, который своевременно не договорился с углеприемщиком. Житья не даст. Метод грабежа и жульничества углеприемщика был несложен, но и недоступен никакому разоблачению. Приемка угля шла на «меры». Когда от жигаря или кучеклада при

езжал в первый раз рабочий с коробом угля, то прежде измерялась вместимость короба. Измерение происходило при помощи ящика-«меры» объемом в кубический аршин. Вместимость короба была различной 10, 9, 8, 7 и даже 6 мер.

В следующий привоз вместимость короба уже не проверялась. Углеприемщик сразу отправлял уголь на свалку в сарай, отмечая лишь в своей записной книжке. По-другому он поступал с теми жигарями и кучекладами или углевозами, которые не хотели входить с ним в соглашение.

Возит, возит мужик уголек, а углеприемщик выжидает случая, когда непокорный жигарь или кучеклад второпях или по невнимательности не наложит короб до установленной нормы. Едва углеприемщик своим натасканным глазом заметит оплошность своего супротивника, он кричит:

— Эй, Иван, становись на меру.

А Иван уже чувствует: «Ох, скостит он у меня много».

Начнут мерять. Углеприемщик своим бадогом тщательно выравнивает сыпавшийся в ящик уголь и так его спрессует, что в коробе с установленной вместимостью в девять мер окажется угля не больше семи. И вот за все дни, сколько прошло с последней проверки, углеприемщик сбрасывает с мужика разницу между первым и последним показателем. Из заработка жигаря или кучеклада вылетала иногда изрядная сумма.

Те же, кто во-время вошел в союз с приемщиком, могли безнаказанно привозить вместо девяти мер семь и даже шесть. Такое «послабление» в конце концов начинало бросаться в глаза.

— Это чаво же, у Кости Мухомора короба маленькие,— говорили мужики вслух,— или—глядите у Артемья Щербакова тоже такие. Им все сходит, а у нас по две меры скашивают, хотя наши воза куда больше ихних.

Для отвода глаз углеприемщик шепнет своим друзьям Мухомору и Щербакову:

— Вот что, мужики, вы завтра привезите полные короба. Я вас смеряю, чтобы разговору меньше было.

На другой день его друзья приезжают с нагруженными до отказа коробами. Приемщик приказывает им становиться «на меру». У них окажется даже сверх нормы и тут приемщик с разочарованием говорит:

— Вот поди ж ты. А меня сумленье брало, что вы не догребаете короба.

Были у нас два таких отпетых плута: углеприемщик Оралкин и его помощник Костарев. Первый служил около двадцати лет, второй — около тридцати. Оралкин грабил и жульничал нагло и открыто. Костарев действовал тихой сапой — с крестом да с молитвой. Первый успел выстроить большой дом, обшитый тесом, изукрашенный резьбой и, наконец, открыл бакалейную торговлю. Горько доставалось бедноте-углевозам, которым нечем было откупаться от Оралкина. Вместе с ним наживались кулаки, вроде жигаря Кости Мухомора и кучеклада Щербакова. Мухомор успел выстроить три хороших дома для своих сыновей, Щербаков — завести десять лошадей.

У Оралкина была прочно установленная система: «Грабь бедноту, живи в ладу с хозяйственными мужиками». Скашиваемые у бедноты «меры» записывались кулакам; последние, оставив у себя договоренный процент, остальное передавали Оралкину. При этом кулацкие лошади не надрывались на работе, возя облегченные короба, в то время как у бедноты к весне от лошадей оставались кости да кожа. В конце концов Оралкин сильно разошелся в своей жадности. Подсчитав, что ему никак не отчитаться в угле перед конторой и не покрыть недостачи никакими процентами на мусор, он в одну августовскую ночь запалил один из угольных сараев, в котором по представленным конторе сведениям должно было находиться 25 тысяч коробов или 250 тысяч кубических аршин. Но, как уверяли знающие люди, в этом сарае не было и 100 тысяч кубических аршин.

Одним словом, сарай сгорел, иди проверяй теперь Оралкина! Сунулся было урядник допросить Оралкина по заявлению одного из сторожей, но, получив «детюшам на



молочишко» умолк. Замолчал и старик сторож, предупрежденный:

— Только шукни, старый хрыч, живо лишишься последнего куска хлеба.

Впоследствии старик резонно рассуждал:

— Зря сунулся в чужое дело, к тому же не мое сгорело, а господское.

Уволенный со службы Оралкин на благоприобретенный капитал открыл торговлю. Рабочие иногда спрашивали:

— Что, Степан Мироныч, торговлишкой занялся?

— Нужда, ребятушки, заставила торговать, — отвечал он. — Сколько конторе ни угождал, выгнали меня, бедного человека.

— Да, чего ты шибко беднишься. Вон какую хоромину заворотил.

— Ой, не говорите, сейчас тяжело вспомнить, как угол себе с бабой на старость лет сгоношили. Ведь только душенька одна знает, сколько недоедено, недопито и недовыспано, пока строился. Грех вам на меня завидовать.

На случай, чтоб какой-нибудь «дошлый человечешко» не донес повыше начальству, Оралкин дом свой перевел на имя своей жены. «Если доберутся в конце концов о причинах пожара, то судите меня, голенького, и от нажитого мною получите кукиш с маслом». Это был обычный прием застраховки — «как бы чего не вышло» — всех жуликов, мошенников, хапавших без зазрения совести.

С торговлей Оралкину не повезло. Единственный сынок Сашенька помог ему вылететь в трубу. Сашенька оказался, что называется, сорви-голова. До 20 лет учил его отец в различных училищах, но ничего из этого не получилось. Наконец, решил он его в свою лавку приспособить. Это дело Сашеньке пришлось по вкусу. Уедет папаша в город за товарами, останется Саша с мамашей торговать, говорит ей: «Покупателей мало, я один поторгую».

Та, послушавшись, уйдет домой, это только и нужно сынку. Начнет торговать с большой скидкой, покупатели шли

к нему гуртом. Наторгует денег достаточно и в карман свой. Затем кликнет какого-нибудь разухабистого коновозчика, бросит ему мешок с кручпаткой, мяса или рыбы.

— Вези да готовь к вечеру закуску. На, вот еще тебе денег, купи полведра вина!

В установленный час закроет лавочку, идет домой. Мать спросит:

— Ну сколько, Сашенька, наторговал?

— Да ничего, мама. Все говорят, что мы дороже торгуем Кузьки Татарина.

Та поворчит:

— Ведь вот чорт немаканный ходу нам не дает. Прости ты меня, господи. Нехристь, а везет ему. А уж мы ли не молимся, да и приклад какой в храм божий положили, а может и не забудет господь нас своей милостью. А ты поди, Сашенька, обедать хочешь, проголодался в лавке-то?

— Да нет, мама, я в лавке селедку с баранкой съел, есть не хочу, а пойду погуляю, тогда уж поем.

— Ну, христос с тобой, погуляй, да недолго, а то варево в печке перепреет.

Сашенька, вырвавшись из дому, стрелой несется туда, где уже пельмени и водка давно его ждут. Под пьяную руку, в дикой пляске орал:

— Пей, гуляй, на ворованное отцом.

В три года сынок помог Оралкину сесть на мель, от лавки остался один пшик. Старик долго потом ходил по заводу, хныча:

— Посмотрите, добры люди, наградил меня господь сыночком, по миру пустил.

Раз служащие завода устроили коллективный вечер в здании конторы. Явился с родителями и Саша Оралкин, в новом костюме, в крахмальной сорочке. Через час, «заложив изрядно за галстук», он стал громить всех служащих: «Ты плут, ты вор, мошенник». В своем обличении он не пощадил никого. Особенно досталось отцу. Саша рассказал, как отец воровал «мерки» и принимал взятки.

На другой день встретил меня его дядя, бухгалтер лесничества.

— Ведь подумать только надо,— пожаловался он на своего племянника,— как он нас всех костил, осрамил наши седые головы. Даже отца родного с матерью не пожалел...

Долго потом были разговоры по заводу:

— Слыхали, как Санко Оралкин служак-то отчехвостил. Они от стыдобушки не знали куда спрятаться. Ну и парень, в кого он только уродился.

Помощник Оралкина Костарев действовал не так широко, а втихомолочку с выдержкой; хапнет разок, сделает паузу, руки в карман: «Я, дескать, честненький, а что скащиваю «мерки», то соблюдаю интересы конторы». Так с присядочкой да оглядочкой тянул в свою нору «на черный день». Получая в месяц всего лишь 10 рублей, он сумел при наличии многочисленной семьи (9 человек) выстроить два дома. Один был, правда, сожжен из мести одним углевозом за штрафные «мерки».

Итак, куренное полено, обильно политое потом и кровью рабочих, служило источником доходов лесничеству, куренщикам, приставникам, кулакам, жигарям, кучекладам и углеприемщикам. Угленосы, сваливая уголь в домну, ради облегчения своего труда часто недогревали короба-мерки и тем самым бессознательно покрывали жульничество углеприемщиков. Так заканчивался путь куренного полена.

Нельзя не остановиться на кучном, самом древнем методе переугливания дров. Существовали два способа укладки дров — кабаный, при котором дрова укладывались горизонтально круглой кучей, напоминавшей лежащую свинью, и другой — вертикальный, когда куча своей конической формой была похожа на огромный муравейник.

Складывались дрова в следующем порядке: посредине куреня выбиралась ровная площадка. На середине выкладывалась клетка из дров, к которой со всех сторон равномерно, ряд за рядом, ставились дрова. Закончив один ярус, выкла-

дывали второй, и так до тех пор, пока куча не получала куполообразной формы. После того как крупные щели между дровами заделывались тонкими палками, начиналось задержание — обкладка всей кучи дерном (травой вниз, землей вверх). Затем кучу обсыпали землей сантиметров на 15 толщины. Куча готова. Кучеклад-жигарь в пустоте клетки, в центре кучи, начинал разводить огонь. Дав возможность огню войти в силу, жигарь забивал отверстие дровами.

После этого начиналась самая ответственная работа жигаря — регулирование огня в куче. Если огонь внутри кучи сразу бросался на поверхность и оставлял неперегашенной внутренность, то о жигаре говорили, что он «свинью опалил». Для правильного регулирования огня у основания кучи в радиальном направлении устраивались «окна», точнее канавы, посредством которых жигарь перегонял огонь куда хотел. Открывая «окна» на одной стороне, он забивал их на другой. В силу тяги воздуха огонь кочевал по куче по воле жигаря.

Определение готовности процесса требовало большого практического опыта. Жигари, как и доменные мастера, определяли химический процесс «на-глазок» — судили о готовности по запаху газа, выходящего из кучи через покрывающую ее землю. Опытный жигарь пройдет вокруг кучи и заключит про себя:

— Как будто, тово, куча сухо дышит, пора ее забивать.

Процесс тушения кучи был несложен: бралась трамбовка (чурка, отрезанная от дерева с оставленными двумя сучками вместо ручек) и постепенно, круг за кругом, куча утрамбовывалась и затухала. Дней через десять — двенадцать приступали к ее разборке. Медленно, слой за слоем, снимались переугленные дрова, причем старались не обнажать ее от земли, чтобы куча не могла вспыхнуть от притаившегося внутри огня.

Работа на кучах была не только тяжелой и грязной, но и опасной. На ней не только можно было смертельно угореть, но и совсем сгореть, провалившись в скрытую огненную пустоту, или быть засыпанным горячими углями при

взрыве газа. Старики рассказывали немало случаев сгорания, людей в кучах.

Особенно тяжело доставалось подросткам, которые попадали к кулакам-кучекладам. Мне пришлось испытать эту жизнь в 90-х годах. Днем я работал на разборке готовой кучи отгребая от нее уголь и заливая водой горящие угли, а ночью дежурил у горящей кучи, следя за тем, чтобы не появлялись «свищи» (горящие дрова, обнажавшиеся сквозь провалившуюся землю). Ходишь всю ночь вокруг кучи, клюешь носом. Смертельно хочется спать, а нельзя, да и негде: тепло только вблизи кучи. Прикурни возле нее и не проснешься никогда.

За эту каторжную работу я получал 30 коп. в день да жиденькую картофельную похлебку с черным хлебом. Поспать удавалось в сутки часа три-четыре, когда меня перед утром сменял сам кучеклад. Спал я уже не раздеваясь, в грязной и пыльной одежде, как собачонка какая-нибудь.

Проработал я месяца три у кулака-кучеклада, стал просить денег:

— Дяденька, я уж много проробил. Мне денег нужно, штаны купить, штаны у меня совсем худые.

— А я тебе где возьму? Угля конторе еще не сдавал. Вот когда сдам, тогда и тебе дам.

Просил я, просил, но кулак уперся, хотя сам каждые полмесяца аккуратно получал деньги.

Тогда я заявил расчет. Он сказал:

— Ну, и катись к такой бабушке. На место тебя десять просятся.

Так и пропал мой трехмесячный труд. Сколько потом ни ходил к нему, он так и не дал мне денег. В последний раз заявил:

— Не проси, не дам. Ты больше хлеба съел, чем работы набробил.

Дорого мне обошлась картофельная похлебка, но куда пойдешь, кому скажешь? Отца нет, заступиться некому.

Дал я себе зарок не работать больше у кулаков.

Но нужда заставила нарушить зарок. Во время очередной безработицы поступил я к кулачку-коновозчику возить

в лесу дрова и чуть не погиб, погребенный снежным навесом. От неминуемой смерти я был спасен проезжавшим мимо меня незнакомым коновозчиком. Снег был двухметровой толщины. Увидев лошадь, одиноко стоявшую возле поленницы, он сразу догадался, что случилось. Живо сгреб с воза топор и давай надо мной рубить снег. Придавленный снежной глыбой я начинал уже терять сознание. Когда он вытащил меня, я от боли в тазовой части тела не мог стоять на ногах. Ковозчик отвез меня в барак и сообщил о моей беде хозяину. Тот положил меня на нары и сказал:

— Ну, лежи до субботы. Поеду в завод, отвезу тебя.

Пришлось прибегнуть к средству, исцелявшему наши рабочие болезни, — моче. Намочил портянки и стал прикладывать к спине, чтобы боль хоть немного утихла. К субботе я хоть раскорякой мог немного двигаться. Хорошо, что кулак хоть деньги уплатил за мою работу и домой отвез.

Одно лето я работал с землемером по нарезке лесосек и с таксатором по таксации леса. Это уже была не такая трудная работа, как рубка дров. Работали мы поденно. Шли с топором, рубя линию визирки или с измерительной цепью, отмеривая длину визир. Если попадал землемер, не терпящий комаров, нам бывало легко работать, так как он часто делал остановки, чтобы мы ему развели «курево» (дымящий костер), где он в дыму отдыхал от комариных нападений.

Таксатор, с которым мне пришлось работать, совсем не выносил комаров. Он нашел для себя выход: передал нам часть своей работы, а сам сидел у курева, спасаясь от гнуса. Вечером, когда мы собирались на ночлег, таксатор объяснял нам законы растительности: почему одно дерево растет быстрее другого, рассказывал о болезнях деревьев, о лесных вредителях, о качестве почвы и влиянии ее на растительность. Это одно из приятных воспоминаний моей юности, когда начальник не только просто обращался с нами, но и развивал в нас любознательность. После этих бесед мы еще серьезнее относились к порученной нам работе. Эта приятная работа продолжалась всего месяца два с небольшим.

В 1900 году пришлось мне работать в Бисерской даче на разведке золота. Разведка проводилась правлением Верх-Исовских золотоплатиновых приисков, принадлежавших Шувалову. Работы велись самым примитивным путем: определяли линии поперечника речушек и логов, а по линиям намечали наугад ряд шурфов.

При пробивке шурфов вначале думали применить метод Ленских приисков — вымораживание, но из этой затеи ничего не вышло, так как климатические условия Среднего Урала были другие, чем на Ленских приисках, где климат более суров.

Пришлось прибегнуть к обычному способу: с помощью воротка поднимать породу и воду, а когда вода очень усиливалась в притоке, ставить примитивный старательский насос-помпу.

И здесь дело не обошлось без жульничества со стороны администрации. Шурфы пробивались вглубь пока была возможность отливать воду бадейкой или старательской помпой. Как только приток воды достигал такой силы, что с ним не могла справиться помпа, шурф закрывался, и в разведочную ведомость заносилось: «На такой-то линии пробит шурф № такой-то, глубиной столько-то четвертей или аршин, после чего его быстро залило сильным притоком воды». Проверить правильность записей не представлялось возможным, и смотритель разведок «нагревал руки».

Если руководители разведок «подрабатывали» толику немалую, то нам, рабочим, эта разведка многим стоила здоровья. Жилье — бараки были от места работы километра на полтора-два. В зимние морозы, выскочив из шурфа мокрый до ниточки, я весь перемерзал, пока добегал до барака. Да и в бараке спасенья было мало. Поужинав, в необсохшей одежде, валились мы кто на нары, кто просто на земляной пол. Утром многие так и уходили в сырой одежде на работу, ежась от пронизывающего до костей ветра. Продукты и ин-

струмент доставляли от завода до места работы на собственной спине.

Раз трое рабочих чуть не погибли от голода, работая километров за десять от пункта, где находился приставник по разведкам. Случился большой снегопад с бураном, длившийся три дня, все дорожки и тропинки занесло, и две партии рабочих оказались отрезанными от жилья. К нашей партии через двое суток после бурана пробился через глубокий снег один рабочий с лошадью и привез нам продукты. К другой партии он ехать отказался, так как лошадь его сильно устала. Мы решили, что те рабочие сами будут пробиваться к нам, когда у них кончится хлеб. Ждали день, ждали два, три, нет — не идут. Наконец, мы, трое самых молодых, решили идти выручать из беды своих товарищей. Наложили в карманы хлеба, захватили немного горного инструмента, чтобы добраться до них, помочь им закончить шурфы и обратно выйти вместе. Итти пришлось по пояс в снегу. Не дойдя километр с небольшим до барака, мы увидели двоих лежащими на снегу. Они совсем обессилели. Третий лежал в бараке и для предсмертного утешения сосал трубку. Мы сварили для голодавших обед, отдохнули денек и затем в три дня вшестером закончили работу и «позаочь» сдали приставнику. Он отказался идти проверять, правильно ли мы показали количество сделанной работы, хотя мы и лишней четверти не прибавили.

За пять месяцев было израсходовано на производство работ тысяч семь. Утверждали, что Шуваловым на это дело было отпущено 25 тысяч рублей. Деньги эти, пока спускались до разведок из Петербургского главного управления именными Шувалова, постепенно прилипали к рукам: главного управляющего, управляющего округом, управителя приисков, смотрителя разведок и т. д. Таким образом, даже в тех редких случаях, когда отпускались средства на организацию разведки, реконструкцию и расширение производства, уральская администрация Шуваловских имений прежде всего ставила перед собой задачу как можно больше «отщипнуть» себе в карман.



Безалаберность и бестолковщина разведок возмущала даже рабочих, желавших, чтобы у нас в Бисере объявились свои прииски. Основания к открытию приисков, особенно по речке Кырме, были: пробы из некоторых шурфов были довольно приличные. Надо учесть еще то, что до «плотиков», т. е. почвы залегания песков — ни в одном шурфе мы не дошли из-за сильного притока воды. Постелью песков по реке Кырме являются сланцы, можно полагать, что основное залегание золота должно быть в верхних разрушенных слоях сланцев. Не были также исследованы «котлы» — котлообразные впадины в долине русла реки, золото в силу большого веса должно было скатываться. Не обращали внимания и на жилы оруденелых кварцев, в бортах речки и впадающих в нее логов. Прибавим к этому, что золото, находящееся в речке Кырме, отличается особой чистотой.

Руководители разведок совершенно не интересовались также старинными приисками в районе Кырмы по речушке Вогулке. Там когда-то были большие работы по золоту не в русле речушки, а, как это ни странно, по борту, где в сланцевых породах находятся так называемые «кошели с песком». Сейчас еще видны следы этих работ на протяжении двух с лишним километров.

Весной 1901 года восемнадцатилетним парнем я решил испытать счастья в приисковой жизни, о которой много слышался в детстве. Начав работать на Верх-Исовском золото-платиновом прииске, принадлежавшем Шувалову, я должен был скоро убедиться в том, что самородки на дороге не валяются, а особой вольной приисковой жизни вообще не существует. Правда, перед моим приходом был случай, когда один паренек из Вятской губернии, работавший у кулака-старателя батраком на лошади, нашел самородок. Он случайно в колее дороги, размытой после сильного дождя, увидел блеск в куске кварца и, хоть и был неопытен в приисковом деле, все же догадался, что это золото. Он разбил кварц, положил освободившийся самородок за пазуху и без ума пригнал на таратайке, даже не высыпав из нее песок, в контору

прииска. Получив деньги за самородок, он на другой же день уехал к себе на родину.

Когда я поступил работать забойщиком в штольню вместе со своим старшим братом, я первое время все приглядывался не попадетсЯ ли самородок. Однажды в куске кварца я заметил золотистый блеск. Дрожащими руками я положил этот кусок за стойку крепи и подозвал брата:

— Санко, посмотри нет ли в штольне десятичника, я нашел самородок!

Брат обрадовался.

— Давай, пока никто не увидал, разобьем кварц!

Каково же было наше разочарование, когда вместо золота оказалось просто-напросто золотистая слюда. После этого случая я бросил мечты о самородках и взялся вплотную за повседневную работу.

Через два месяца мне пришлось впервые принять участие в массовой стачке горнорабочих. Дело в том, что забои были тогда всего в один метр высотой. При откатке песка из забоя в штрек нужно было нагибаться в три погибели. Первое время мы с братом все время спиной задевали за крепь и сбивали кожу до крови. Короста не сходила со спины. Когда кожа на спине немного загрубела и стала менее чувствительной, да и мы несколько приноровились, только тогда перестали мы сбивать себе позвоночный столб. Но сколько ни стремились заработать хоть рубль в двенадцатичасовую смену, ничего не выходило. Бились, бились, сколько ни просили администрацию прибавить нам, не прибавили. Тогда решили «бросить работу» (слова «забастовать» мы тогда еще не знали). Начали стачку татары-забойщики: их было около двухсот человек. Администрация на уступки не пошла. Тогда татары-забойщики потребовали расчет и ушли на другие прииски, захватив с собой 50 человек вятских рабочих. ПрийдЯ всей массой к баракам вятских рабочих, они заявили:

— Айда, ребята! Не пойдешь с нами, голова ломать будем!

Вятские подчинились и ушли вместе с ними на другие прииски.

После ухода этой партии в штольне опять набрали рабочих — большинство татар. Эти так же заявили, что они за пять рублей работать не будут и после заявления на второй день тоже забастовали. На третий день стачки администрация сдалась: прибавила рубль двадцать копеек.

Добыча золота и платины шла в то время главным образом по линии старательских работ. Механизированный способ добычи был представлен одной небольшой драгой, построенной Невьянским заводом, небольшим числом паровых «бутар» и «американских чаш». Основная добыча золота и платины, как старательская, так и механизированная, производилась летом. Зимой старатели работали в «зимниках» — бараках. Бедняку, конечно, нечего было и думать о зимней работе, и он, обычно, шел зимой в батраки к кулаку-старателю. Приисковое управление для поощрения зимней промывки платило зимой на 30 копеек дороже за золотник платины или золота. За золотник золота старателям платили 3 рубля, за платину летом — 1 р. 20 коп., а зимой — 1 р. 50 коп.

На лето приезжали тысячи сезонных рабочих для работы на хозяйственных и старательских работах. Это были преимущественно татары из Казанской губернии и русские из Вятской. Хозяйчики-старатели съезжались с заводов Среднего Урала: Верхне и Нижне-Туринских, Кушвинского, Тагильских, Невьянского, Баранчинского, Лайского и Висимо-Шайтанского. Постоянные приисковые рабочие вербовались из жителей местечка «Золотые промыслы».

Этот поселок, основанный в 1820 году при открытии золотых россыпей, несколько десятков лет носил свое название. В 1870 году, с постройкой в поселке церкви ему дали название «Крестовоздвиженского». В народе, однако, это название не привилось, и поселок называли по-старому «Промыслами».

Иногда это приводило к курьезам, например в 1900 году во время призыва на военную службу регистратор в заводе Чусовая вызвал на очередь к призыву «Кресто-

воздвиженскую волость», а промысловская призывная молодежь даже не отзывалась.

Жители Промыслов до середины девяностых годов занимались исключительно горным промыслом — добывали золото и железную руду. В двух километрах от поселка был большой рудник бурых железных руд. До 1889 года руда его доставлялась в Бисерский завод, а после постройки в этом же году Теплогорского завода — пошла для переплавки уже исключительно на этот завод. В 1919 году рудник был остановлен ввиду нерентабельности.

Рабочими и старателями были открыты в 70—80 годы и золото-платиновые прииски на восточном склоне Урала, по долинам рек Иса и Косьи, речек — Простокишенки, Покапа.

Богатейшие россыпи платины по рекам Иса и Косьи открыл промысловский старатель Кучумов, именем которого и сейчас называется один из Верх-Исовских приисков.

Кучумов был «золотоискательский волк», знавший хорошо все речки и лога этого большого, богатого района. Человек он был напористый, обладал смекалкой, знал, где нужно искать и где, как тогда выражались, «нечего попусту землю перегребать». Его никогда не удовлетворяло найденное; найдет золото, поставит рабочих на промывку, а сам берет котомку с сухарями, с солью, ружье, пробный ковш и отправляется дальше исследовать речушки и лога. Если обнаружит месторождение с небольшим содержанием золота, скажет:

— Кому есть охота, мой, а мне этого не надо.

У него был закон: со ста ручных тачек<sup>1</sup> он должен намыть не менее 5 золотников, а ниже этого он считал «не стоящим интереса».

Действительно, открытые им Верхне-Исовские прииски (особенно прииск, который носит его имя) обладали баснословным содержанием платины и золота (на Исовских приисках золото является лишь в качестве спутника платины). Кучумов разрабатывал лишь те площади, где станок стара-

---

<sup>1</sup> Сто тачек вмещали 10 тонн песку.

тельский давал не менее трех четвертей фунта за день. Нередко были случаи, когда намывали и по фунту за день со ста тачек.

Несмотря на такое богатство, которое он находил, у него не накапливались средства. Он жил так — «сегодня есть, а завтра наживем». Когда сдаст золото, получит, что называется кучу денег и пошел крутить: водки сколько хочешь, пей кто хочет, словом, гуляй в мою душу. Пока не прокутит все деньги, не успокоится. Кончит деньги, опять, как зверь, накинывается на работу. К нему рабочие охотно шли работать: «Деньги,— говорили они,— заработишь и досыта водочки попьешь».

Кучумов не любил «царские дни». Во время самодержавия «царские дни» были «табельными» — в календарях отмечались красной краской, в эти дни запрещалось работать. Кучумов наоборот в «царские дни» заставлял работать, а на другой день устраивал отдых с грандиозной выпивкой. Чем объяснялась нелюбовь Кучумова к «царским дням» — трудно сказать. Сам он об этом ничего не говорил. Может быть, это был простой гонор «фартового» золотоискателя; возможно существовали другие мотивы. Относительно чудачеств фартовых старателей много было всяких разговоров.

Я знал одного фартового старателя с Промыслов Рябова, много чудившего на своем веку. Раз во время сенокоса, когда почти все жители Промыслов были на покосе, Рябов, находясь при «фарте», скупил в кабаке всю водку, у лавочников — пряники и конфеты, разложил все это прямо на улице, на траве и кликнул клич по всему поселку:

— Эй, православные, иди все, кто хочет выпить и закусить рябовского!

Разумеется, на клич Рябова откликнулись все старые и малые. К вечеру весь поселок оказался спившимся, а Рябов ходил с бандуркой и с приплясом наигрывал гулявшим:

— Пей, веселей, не тужи, Рябов еще знает, где взять.

Когда рабочие возвратились с сенокоса, они с изумлением увидели, что все их «домовники» — старики и старухи вдрызг

пьяные валяются по улице, а дома даже ужины «покосникам» не приготовлены. Бабы накинулись на Рябова с руганью:

— Лешак ты этакий, что ты у нас наделал, всех перепоил. А Рябов как ни в чем не бывало:

— Бабоньки, не сердитесь, выпейте с устатку.

Разумеется, мужики и бабы принялись с «устатку» прикладываться к водке. Многие так и до дому не дошли, а ночевали на улице со своими косами, граблями и вилами.

Рябов свою жизнь закончил сторожем приисковой конторы, до самой смерти сохранив веселый характер. Даже служа сторожем, получая всего 8 рублей в месяц, он весь свой заработок прогуливал с веселой компанией.

Как Рябов, так и Кучумов, умерли, не оставив своим сыновьям ничего. В последний год Кучумов затеял процесс с Шуваловским управлением приисков, чтобы оно оплатило ему труд по открытию богатейших приисков, с которых его прогнали. Уже после его смерти какой-то бойкий екатеринбургский адвокат взялся довести дело до конца за 50 процентов с присужденной суммы. Лет десять спустя после смерти Кучумова адвокату все же удалось получить по решению суда 20 тысяч рублей с управления Шуваловских приисков.

Сын Кучумова, получив 10 тысяч, купил 10 лошадей и занялся перевозкой руды с горы Благодать для Кушвинского завода. Через два года у него осталась опять одна лошаденка.

Но были старатели и другого типа, например: отец известных камских пароходчиков «Братьев Каменных». Работая на Промысловских золотых приисках в 1870 году, Каменский наткнулся на «фарт», заработал несколько тысяч и немедленно вернулся в свою деревню Данилиху (бывшая пригородная деревня Перми, ныне уже часть города). Там он купил хороший домик, открыл постоянный двор для купцов, проезжавших через Екатеринбург, на Ирбитскую, Крестовскую ярмарки и таким образом начал преуспевать.

В 1901 году, когда я работал на Верх-Косыньских приисках, старателей типа Кучумова уже не было. Остались

лишь воспоминания стариков-старателей. Отрывки приискового разгула, конечно, проявлялись, но уже не в прежнем масштабе. Однако и этот пьяный разгул производил на всех сильное впечатление.

Большей частью он выражался в бешеной езде на паре или тройке лошадей. Можно себе представить бесшабашную гонку пьяных старателей по пням, рывтинам, по глыбам камней. Свист, гиканье! Только успевай отскакивать на узкой дороге, когда мчится пьяная орава на взмыленных лошадях, стараясь обогнать один другого. Один кричит:

— Эй, сторублевая, выноси!

А второй, не отставая:

— Стодвадцатирублевая, перегоняй, иначе убью!

И третий орет:

— Куда вы на сторублевых? Отворачивай живей! Иначе всех вас вдребезги разнесу на своих двестирублевых.

Действительно, сшибутся, только треск раздается от лопающейся сбруи и возков, а освободившиеся от запряжки кони, с остатками изорванной сбруи, разгоряченные бешеной ездой, как дикие звери, несутся неведомо куда. А на дороге в обломках своих возков доругиваются пьяные старатели, со стонами и проклятиями доказывая друг другу преимущества своих лошадей.

Вечером во время получки прииск стоном стонал. Во всех концах визг пьяных женщин, мужские крики, похабные песни, отвратительная ругань, отчаянные драки с ножами, топорами, дрекольем. На другой день многие из гулявших недосчитывались у себя зубов, ребер. Кому голову всю топором и колом измолотили, кому нож в спину или бок всадили и нужно ехать в Промысловскую больницу за 30 километров (на приисках был лишь приемный покой без доктора).

Нужно сказать, что все «герои» пьяных драк стоически выносили полученные в драке раны, повреждения костей рук, ног или черепа. Молча корчились от боли где-нибудь в бараке на голых нарах.

Та же пьянка с картежной игрой «в стуколку» разврат царили среди служащих приисков. Пили служащие беспробудно, пьяные и работать ходили в контору. Придет иной администратор в штольную или в разрез, а сам еле на ногах держится. Пили и гуляли служащие, конечно, не на свое жалование, а на приватные доходы.

У меня был сосед по фамилии Верхоланцев. Он служил штейгером, получал сорок рублей в месяц, а жил на сто, да еще в Пермь в банк отвозил часть «благоприобретенных» на «черный день». Администрация повыше имела доходы покрупней. Она вела дело с крупными подрядчиками, которым сдавала большие подряды на заготовку лесоматериалов, доставку грузов, поставку различных материалов и оборудования. Здесь уже «безгрешные доходы» определялись в сотнях и тысячах рублей. Некоторые «хапали» прямо и откровенно. Например, в 1901 году, смотритель старательских работ Шуваловских приисков Брагин сразу «хапнул» 20 фунтов платины, собранной им от старателей на Кучумовском прииске. Для маскировки своей кражи он пропьянствовал целую ночь, а утром заявил, что его обокрали. Управление приисков предложило ему в возмещение «за утерянную платину» выплачивать по 50 рублей в месяц, но в то же время добавило ему жалования до 100 рублей в месяц. Брагин остался недоволен таким решением. Взял расчет и уехал на Невьянские прииски. Прослужив там год, опять вернулся спокойно на Верх-Исовские прииски уже с новой прибавкой жалованья.

Тащили и воровали все кому не лень, благо природные богатства были колоссальные. Ведь одной платины добывали полторы тонны в год, не считая золота!

Зато шуваловские служащие в прощение своих «грешков» старались угодить «его сиятельству»: выжимали из рабочих все, что можно было выжать. Шуваловские «приставники», то и дело бегали и кричали:

— Не стой, работай живей! Эй, вы, лодыри царя небесного, чего там встали!



Зарплата была, в среднем, 60 коп. за 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub> часовый рабочий день. Забойщики зарабатывали по 1 р. 20 коп. Работа забойщиков была чрезвычайно трудная и сложная, особенно в штольнях, где приходилось работать в условиях сыпучих песков. Небольшая неосторожность грозила обвалом забоя. За одну смену два человека должны были накопать, нагрузить в тачку, откатать, а затем накидать в штреке в вагонетку тонн 10 породы. Для этого нужно было развить бешеный темп работы. Каждое движение так рассчитывалось, чтобы не делать ни бесполезных остановок, ни лишних взмахов, иначе рубль или 1 р. 10 коп. никак не заработаешь.

От забойщика требовалось не только умение правильно владеть инструментом, но также и правильно его присаживать. Не овладев этим, рабочий больше мучился, чем работал.

Весной 1901 года работа в штольне неожиданно прекратилась. Внезапно начался весенний паводок на реке Ису. Горная, крутопадающая, бешеная в своем потоке река Ис разрушила «перевалки» (дамбы), отделяющие ее от разрезов, и ринулась в штольни с невероятной силой. Сметая на своем пути все, что попадалось, она с изумительной быстротой стала затоплять штольни. Когда мы с братом услышали тревожный сигнал и бросились к выходу, вода уже более чем на три четверти затопила штольню. Мы еле выползли по шпалам рудничного рельсового пути и по откосу основания, карабкаясь за породу разреза, вылезли на борт. Пока мы вылезали, штольню затопило окончательно.

Работа в штольнях находилась под строжайшим контролем десятников и штейгеров. Платиносодержащий пласт в песках был замечен глазом, а содержание его было настолько богатым, что можно было прямо в забоях при наличии воды намывать платины. Поэтому в штольнях не допускалось ни малейшего скопления воды, даже небольших лужиц. Чтоб рабочие не смогли выносить пески за голенищами сапог, их обязывали носить штаны на выпуск, а при выходе из штольни осматривали — «не распухли ли у рабочего сапоги». Если

Замечали, что у рабочего ноги слишком толсты, заставляли разуваться и высыпать из сапог набившийся туда песок. Все же опытные старые приисковые рабочие ухитрялись выносить богатый содержанием песок, а дома промывали его в чайных блюдцах. Сезонные рабочие этого, конечно, не делали по своей неопытности.

Особое место в деятельности приисковой администрации занимала борьба со скупкой золота и платины у старателей. Но сколько ни старалась администрация, хищение и скупка платины и золота процветали во-всю. И это вполне понятно. Скупщики платили за золото не 3 рубля за золотник, а 4 р. 50 коп. За платину вместо 1 р. 20 коп. платили 2 р. 50 коп., т. е. вдвое больше. У скупщиков была широкая сеть агентуры: торгоши, спиртоносы, точнее «водконосы». Скупленное золото и платину скупщики сдавали крупным фирмам, которые выступали уже вполне официально, как «золотопромышленники», имеющие «собственные» прииски.

В 1904 году я работал «на разведке» золота, у бухгалтеров Крепешева и Кривоносова. У них была заявка на золото-содержащие площади по речке Вые, притоке Иса, протекающей между хребтом Урала и горой Качканар. Расчет «по добыче золота» у них был очень прост: Кривоносов жил в Теплогорском заводе при железнодорожной станции, которая являлась пунктом, куда съезжались с Исовских приисков агенты-скупщики. Без всяких затрат он принимал у себя золото от агентов, а затем уже сдавал его вместе с Крепышевым как владелец прииска.

При разведке я много обнаружил дутых приисков, владельцы которых никакой добычей золота не занимались. В Екатеринбурге такие прииски даже продавали и перепродавали.

На таких приисках велась лишь фиктивная работа. Работая у Крепышева и Кривоносова, мы немало удивлялись странному характеру разведок, которые здесь велись. Шурфы пробивались бессистемно и ни один шурф не доводился до конца, т. е. до золотоносного слоя. Всю эту механику «зо-

лотопромышленников» разъяснил нам рабочий, старый приисковый волк.

Такого рода «золотопромышленников» было много в то время на Урале. Получали они «свою добычу» от старателей, умевших не сдавать конторе намытое золото и платину.

Большую долю «добычи» вносили «хищники золота». Эта категория золотоискателей до сего времени очень слабо освещена в литературе. В «хищники» шли люди, обладавшие кое-какими средствами, выносливые, смелые и знавшие приисковое дело. Жизнь среди глухой тайги в тяжелых условиях, при постоянной опасности быть пойманными горной стражей и за «хищничество» отсидеть полгода или год в тюрьме, требовала большой выдержки. Были «хищники» самостоятельные, которые добытое золото или платину сдавали кому хотели, т. е. кто дороже платил; были зависимые, шедшие «хищничать» от хозяина-скупщика, который снабжал их всем необходимым: инструментом, продуктами и огнестрельным оружием. Оружие «хищнику» нужно было не только для заготовки продуктов, но и для защиты как от зверей, так и от людей.

В «хищнической» жизни нередко были случаи убийства одной артели хищников другой. Недалеко от делянок Крепышева и Кривоносова была речушка Деревянная. В борту этой речки месяца за два до нашего прихода были обнаружены двое убитых «хищников»: отец и сын, жители поселка «Золотые промысла». Убийцами оказались тоже «хищники», жители этого же поселка. Много одиночек-«хищников» гибло от истощения или внезапных болезней.

В 1902 году один старик-«хищник», проживавший вблизи Бисерского завода, пропал бесследно в окрестностях горы Вороновская Копна.

Искать старика вызвалось много охотников. Перед тем прошел слух, что у старика якобы было намыто «голенище золота» (мешок, сшитый из обрезанного от сапог голенища). И люди, поверившие этому, много лет ходили искать погибшего старика.

Многие «хищники» были вооружены первоклассными ружьями и револьверами, но были и такие, которые имели лишь шомпольную «фузею».

Те старатели, которые «хищничали» на средства скупщиков, были почти в полной от них зависимости. Бывали случаи, когда скупщики шли на открытое надувательство: примут от «хищника»-старателя золото, а затем покажут на дверь: убирайся — откуда пришел.

Старатели, работавшие на отведенных им делянках, тоже старались приложить все силы, чтобы как можно меньше сдать добытого металла конторе, а больше направить скупщику, ввиду большой разницы в цене. И со стороны приставников, которые следили за работой старателей, требовалась большая опасность, чтобы уметь ловить старателей на утайке золота. Они делали внезапные налеты на старателей, проверяли целостность печатей у станка, правильность уклона шлюза станка, исследовали воду около станка, не заметно ли признаков мыла, ртути и других «сгонных» препаратов. Приставники, как разведчики на войне, ползком выслеживали действия старателей. Но все эти меры применялись главным образом к старательской бедноте или людям неопытным, не умеющим «делать дело». Кулаки-старатели действовали другим путем — они подкупали приставников и штейгеров. Последним не приходилось прибегать к сложной системе сгонки золота «в хвост», а затем промывки пробным ковшом. Эти «борцы с хищением» большую часть золота отдавали скупщикам, меньшую — в контору прииска. Просто, удобно и никаких хлопот!

Борьба управления приисков с хищением золота и платины и со скупщиками велась большей частью впустую.

В 1901 году управляющим Верх-Исовскими (или, как раньше называли, Косьинскими приисками) был назначен инженер Перрэ, впоследствии один из виновников Ленского расстрела рабочих в 1912 году. Начав решительную борьбу со скупщиками, он стал выселять всех не имевших отношения к прииску, а также подозреваемых в продаже и скупке

платины и золота. Тех, кто не подчинялся его распоряжению, служащие усаживали в телегу или сани, смотря по времени года, вывозили километров за тридцать от прииска и высаживали с напутствием:

— Кати, куда хочешь.

В 1905 году Перрэ обзавелся не только своими стражниками, но и казаками-кубанцами, которые в качестве конвоя сопровождали выселяемых. Выселяемыми, конечно, зачастую оказывались не только скупщики и хищники, но и «политические».

Так, в 1907 году был выселен с приисков член нашей подпольной партийной группы Петр Костарев. Когда Перрэ узнал, что Костарев ведет пропаганду среди рабочих, он вызвал его к себе в кабинет и лично вручил ему расчет со словами:

— Вот тебе, господин Костарев, расчет, а у крыльца стоит пара лошадей, пара конных кубанцев, с которыми ты вылетишь до станции Теплая Гора. И больше не вздумай сюда нос показывать.

Крутыми мерами Перрэ отчасти уменьшил, а вернее скатать загнал зло поглубже в подполье.

При нем также сократилась открытая форма приработков служащих. Он уменьшил до некоторой степени дикий приисковый разгул и драки, добиваясь того, «чтоб у него», — как он говорил, — «на приисках было тихо, смирно». Он очень простой формулой определил положение рабочего: «Работай, ешь, спи и ни о чем больше не может быть никаких разговоров!»

Сам Перрэ, когда поступал на службу управляющим, выговорил себе следующие условия: 14 тысяч золотом в год, процент с прибылей, квартира в 11 комнат, с полной меблировкой, оранжерея с теплицей для выращивания всяких деликатесов, кучер, дворник, кухарка, садовник, пара рысаков, полуторамесячный отдых в Крыму — и все бесплатно!

Вполне естественно, что он не пачкал рук мелкими сделками с подрядчиками. Более солидные куши, в форме бан-

ковского чека, он получал не в передней своей квартиры, а в Екатеринбурге в «Харитоновском доме».

Всякое покушение со стороны рабочих на улучшение своего положения он считал величайшим преступлением против священных прав предпринимателей. И впоследствии в Ленской трагедии (Перрэ с Шуваловских приисков уехал обратно на Ленские, кажется, в 1909 году) он сыграл далеко не последнюю роль, расстреляв рабочих, осмелившихся заговорить об улучшении нестерпимых условий быта

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Я решил идти обратно в свой Бисер, где тогда намечалось некоторое расширение добычи руды. Но мне пришлось сначала прогуляться на Макаровские рудники, находившиеся в 25 километрах от Екатеринбурга.

В 1901 году они были арендованы Лысьвенским округом. Это были очень примитивные железные рудники, какими тогда изобилдовал Урал. Большая часть добычи руды производилась старательским методом. Пробивались круглые дудки без всякой крепи, также почти без крепи проходили «орты» с забоями руды (орты — старинное название проходок в шурфах).

Посудиной для подъема руды служила плетеная корзина, которую валком от воротка поднимали женщины. Старательство было большей частью семейным: отец с сыном или дочерью или же муж с женой.

Мы приехали работать не на старательских работах, а в забое вновь пробитой шахты. По существу это даже была не шахта, а шахтенка 40 метров глубины с конным подъемом и паровым водоотливом. Пробита она была, что называется «на-ура», т. е. без всякой предварительной разведки.

Когда мы спустились в шахту, сделали рассечку и повели работу в двух направлениях, то в одной стороне нарвались на колчеданные валуны с водой, а в другой — на мягкие породы без признаков руды.

Проработали месяца два и ушли с работы, так и не увидев руды. Бросить работу заставили нас жилищные условия: нас поместили в барак-землянку, покрытую двухсторонним скатом, без пола, с дымящей печкой. Нары были положены прямо на землю, с потолка от таявшего снега текла вода, на полу от размокшей глины была невозможная грязь. А набили нас в эту мышиную нору столько, что спать приходилось, что называется, «врасклинку». Обсушить мокрую одежду после работы было негде. Умываться приходилось снегом, так как воду привозили издалека, только для варки обеда и чаю, да и то часто нехватало. Кое-как сваришь себе, бывало, ужин и чай. Хочется спать, а как посмотришь на сырые нары, дрожь берет. Но деваться некуда, хоть плачь, да ложись. И сушишь своим телом намокшие нары, и сверху на тебя еще капля за каплей падает, и в довершение всего дым от печки глаза ест.

Хоть мы и привыкли жить в барачной обстановке, но такого ужаса не выдержали и ушли с рудника. Заведующий рудником инженер Герман пытался нас удержать, уговаривая:

— Ничего, ребята, ведь только зимой придется помучиться, а летом будет хорошо. К следующей зиме земельки на потолок добавим и не будет промокать.

— Нет,— заявили мы ему,— если вам, господин Герман, нравится барак, можете после нас его занять.

Он попробовал припугнуть тем, что взыщет с нас все расходы по привозу нас на рудник, но и это не подействовало.

В Бисере нам сначала не хотели давать работы, как сбегавшим с Макаровских рудников, но в конце концов послали на ломку доломита для доменного флюса.

Работа по ломке флюса производилась обычно летом, когда он хорошо разбивается кайлом или клином, и к дорого стоившему динамиту приходилось прибегать редко.

Посылать нас на эту работу зимой было просто издевательством. Мы зарабатывали по 5, 10, 15 коп. за месяц, а одна артель даже «проработала» еще 5 коп., т. е. израсходовала на динамит больше, чем заработала.

Обратились мы к администрации с просьбой — прибавить нам немного на мерзлоту, но получили отказ: нельзя, повысится стоимость чугуна.

Довод крепкий, против него не попрешь: или продолжай работать за 5 копеек, чтоб стоимость чугуна не повысилась, или иди ищи себе работу.

Мы выбрали последнее. Решили пойти в курень дрова рубить, пока не примут обратно на рудник.

Горный инженер появлялся на руднике изредка, в два-три года раз. Проверка его выражалась большей частью в том, что, съездив на один рудник, он спускался в более благополучную по безопасности шахту, затем заезжал к управителю завода, чтобы погулять у него ночь. На другой день получал «мзду» за составление акта, гласившего, что на Бисерских рудниках графа Шувалова работы ведутся согласно Горного положения. На этом его «миссия» заканчивалась.

Вполне понятно, что жизнь и здоровье горных рабочих всецело зависели от усмотрения рудничной администрации, и даже кучие законы самодержавного правительства, указанные в Горном положении, не были обязательны для администрации.

В 1905 году наша подпольная группа начала добиваться хоть какой-нибудь помощи искалеченным на работе рабочим.

Был у нас в заводе один рабочий по фамилии Елькин, которого в 1896 году искалечило в забое взрывом динамитного патрона. У него этим взрывом вышибло глаз, искалечило руку, сломало три ребра. После того, как он немного поправился, его поставили сторожем в заводскую пожарную с окладом в 6 рублей и назначили пенсию в 1 рубль. А при нашем содействии в 1906 году Елькин получил пенсию уже в 21 рубль. Нам в этом помог Пермский комитет РСДРП.

Кроме этого случая, мы добились пенсии еще кой-кому, в том числе матери сварившегося в паровом котле Володи.

И старик Елькин и старушка-мать Володи были нам за эту помощь глубоко благодарны. Елькин всегда выступал



в нашу защиту. В 1918—1919 году, во время пребывания на Урале белых, старик Елькин, не боясь последствий, говорил жителям поселка, что большевики стоят на защите бедняков.

Опасностей при подземных горных работах было очень много. Одной из наиболее частых аварий был обрыв канатов и железных дуг, подвесных бадей или кабелей, посредством которых производился подъем породы из шахты или шурфа.

При ковке скоб никто их прочность не проверял. Если у кузнеца в кузнице не сломалась,— и ладно, тащи да надевай на бадью или кабель. Срок износа каната в работе не устанавливался. Работали на нем до тех пор, пока он от износа не отрывался. На этой почве в шахте очень часто происходили несчастные случаи.

Взрывные работы до 1905 года производились без соблюдения самых элементарных правил обращения с взрывчатыми веществами. Динамит обычно выдавался на руки рабочим, те сами заряжали скважины и производили запалку шнуров.

Зимой мерзлый динамит клали в казарме на горячую печку, чтобы он скорее оттаял, а иногда еще проще поступали: держали его у себя на груди, за пазухой.

При взрывных работах иногда так называемый «бикфордов шнур» оказывался с дефектом, и взрыва скважины не получалось. После 15-минутного срока подходили к невзорвавшейся скважине для выяснения причин, помешавших взрыву, и приступали к разрядке невзорвавшегося динамита. При разрядке динамита прибегали к самым несложным средствам.

По инструкции строго воспрещалось держать металл вблизи динамита. Это правило не соблюдалось никем. Даже гвозди на укупорочных ящиках употреблялись медные, а в динамитных складах все приборы: скобы, дверные шарниры и т. д.— все было медное. При разрядке же невзорвавшегося динамита рабочие вынуждены были прибегать к железному инструменту.

Для отогревания динамита не было специальных помещений. Зачем производить непроизводительный расход на постройку каких-то камер, когда у рабочего есть пазуха?

От этой экономии рабочие частенько становились жертвами «собственной неосторожности». Так, в 1897 г. на Горе-Вознесенском руднике при ускоренном оттаивании динамита на печке в общей рабочей казарме были убиты наповал три человека и несколько человек ранено.

При всех этих катастрофах шуваловская администрация ограничивалась увольнением со службы «запальщиков».

Однажды я чуть было не стал жертвой «случайного» взрыва динамита. Дело было зимой, на ломке доломита для доменного флюса.

При зарядке одной скважины, когда на дне скважины был уже один патрон динамита, примерз в середине скважины второй патрон. Штейгер вместо того, чтобы принять меры к разрядке примерзшего динамита, дал рабочим распоряжение — вложить в скважину шнур без детонатора (капсюля) и сжечь динамит.

Рабочие так и сделали: зажгли динамит, а работы около места, где была скважина с горящим динамитом, не только не прекратили, но некоторые даже подошли к скважине и закурили, поглядывая, как горит в скважине динамит.

Правда, старые опытные горняки предупреждали:

— Отойдите, ребята, от скважины. Чорт ее знает, может и взорвется.

Но так как большинство знало свойство динамита — стоять в спокойном состоянии, то никто не придавал никакого значения предупреждению.

— Ну, зачем он без капсюля взорвется.

Не прошло и пяти минут, как раздался взрыв, и глыба доломита в пять кубометров разлетелась!

В этот момент я с двумя молодыми рабочими шел с тачкой навстречу взрыву. Нас осыпало густым градом осколков и кусков камня.

Как мы остались живы, я и сейчас не могу понять, так как мимо нас летели камни по пуду весом. Правда, мелкими

кусками нам нанесло много ударов по телу и в нескольких местах прошибло до крови лицо.

Из строя мы не выбыли, а кровь с лица обтерли снегом.

Рабочие, которые покуривали табачок около скважины, также отделались ушибами, так как их силой взрыва отбросило в сторону.

Лишь после взрыва прибежал штейгер. Увидев, что убитых нет, руки, ноги никому не оторвало и только трое пострадавших обтирают снегом кровь с лица, утешил:

— Ну, ничего, ребята, завтра ведь у вас не свадьба, до свадьбы все заживет.

Конечно, ни бинтов, ни марли, чтобы перевязать раны, на руднике и в помине не было. Велика важность, кровь течет. Потечет, да перестанет. Для завязывания ран мы обходились снятыми с себя рубашками или портянками.

Со мной был случай на платиновых приисках. Сорвавшейся вагонеткой я получил настолько сильный ушиб ниже колена, что без чувств свалился. Четыре часа я пролежал без сознания. Меня лечили товарищи «мочевыми компрессами», намачивая поочередно портянку. После этого ушиба я три дня совершенно не мог ходить.

Администрация отнеслась к этому случаю более чем равнодушно. Когда штейгеру сообщили, что Ермаков встать не может, он ответил:

— Не барин, отлежится.

Между прочим, этот штейгер приходился мне родственником: он был женат на моей двоюродной сестре. Как служащий, он не хотел знать родственника-рабочего. Через 18 лет, когда в августе 1918 года я явился на эти прииски уже не как рабочий, а как комиссар по формированию отрядов Красной Армии и председатель Делового Совета по управлению заводами, то мой родственничек сразу признал меня за двоюродного брата и пригласил «попить чайку», приехав для этого за семь километров.

Борьба горных рабочих против безудержной эксплуатации и издевательств над собой со стороны шуваловской администрации не обходилась и без комических эпизодов.

Я знал одного рабочего Кокшарова Семена Осиповича, который был поставлен на должность десятника за свои знания и сравнительную грамотность. Это был высокий красивый, широкоплечий человек. Отличался он высокой честностью, никогда не тянул руку начальства и не стеснялся прямо и открыто выражать собственное мнение.

Однажды летом Кокшаров вместе с рабочими шел вечером домой с работы. На полпути им встретился новый смотритель поляк Михайловский. Он остановил Кокшарова и предложил ему вернуться обратно, показать работы. Кокшаров спокойно сказал:

— Рабочий день окончен. Если вам угодно, приезжайте завтра днем во время работы, я вам покажу.

Привыкнув на руднике к невероятному раболепству низших служащих, Михайловский был поражен и возмущен этим ответом. Однако уволить непокорного десятника не посмел, опасаясь расправы над собой. Очень быстро он успел убедиться, что его опасения были не напрасны.

Первый урок он получил от меня в своей же квартире, куда я явился к нему «с визитом» по поводу увольнения меня с работы «как коновода». Правда, я его легонько приподнял рукой за воротник и подержал, пока он не согласился дать записку об обратном приеме меня на работу.

После этого я извинился перед его женой и ушел.

Второй случай был уже более ощутительного характера. Трое молодых рабочих схватили смотрителя на лесной дороге и приставили ему к груди заряженное охотничье ружье.

После такого предупреждения Михайловский не появлялся больше на рудниках и счел за лучшее расстаться с прекрасными бисерскими местами, так и не выполнив своего обещания отучить бисерских горных рабочих кушать мясо и носить сапоги. Такое обещание давал еще до Михайловского горный смотритель Федор Медведев.

Заметив в рабочей казарме мясо в котлах и то, что подавляющее большинство рабочих были одеты в сапоги, он не выдержал и заявил:

— Ох, вы еще мяско кушаете и сапожки носите! Извините, я вас отучу от этого баловства!

На эти полные наглого цинизма слова рабочие ответили тем, что «господин» Медведев через полтора месяца вылетел с нашего завода, что называется, легче пуху.

Когда он выезжал, двое рабочих взяли в конторе метлы и на глазах всей администрации замели за ним след.

Выгнали его не посредством стачки или забастовки, а гораздо проще. Сначала спустили ему в шахту комочек руды весом около 10 килограммов на плечо (метили, правда в голову, но немного ошиблись). Затем в конторе завода во время полочки сняли с него валенки.

История с валенками была такова. Он их получил, как взятку, от артели сезонников-горняков, приехавших из закрытого медного Ашапского завода, обещав им за валенки хорошие забои. Но местные рабочие каким-то образом об этом узнали и поставили перед ашапцами условия:

— Отберите от смотрителя валенки, тогда дадим заработать.

Те согласились, и в первую же полочку, придя в контору завода, взяли в кольцо техника:

— Господин Медведев, снимай наши валенки, будет, походил.

И Медведеву пришлось садиться на пол и снимать валенки на глазах рабочих и служащих.

После такого срама ему ничего не оставалось, как в тот же день взять расчет и с позором уехать.

После этого случая и местные служащие стали брать взятки осторожнее из опасения, что с ними может произойти такой же казус.

«Случайное» падение кусков руды сверху применяли, конечно, не только по отношению к Медведеву.

Одному горному смотрителю Корюкину за его дикий произвол рабочие отомстили очень оригинальным способом.

Спустившись в шахту на одном из крупных бисерских рудников — Кырменском, он полез в верхние горизонты забоев. Рабочие, услышав, что он спустился в шахту и будет подниматься в верхние забои, заставили рабочего Горбунова, страдавшего в это время расстройством желудка, испражниться на борта лазового люка. Корюкин, ничего не подозревая, с папироской в зубах полез через люк. Почуввав отвратительный запах на своей бороде, он с руганью бросился бежать из шахты. Обратный путь занял добрых полчаса, так как нужно было пробежать много штреков, а затем 60 метров подниматься по лестницам.

Взбешенный полученным «угощением», Корюкин уехал на завод, наказав штейгеру во что бы то ни стало разыскать «мерзавцев».

Но сколько ни ходил штейгер по забоям, опрашивая, кто «испоганил Ивана Сосипатровича», виновник не нашелся.

После этого Корюкин, спускаясь в шахту, посылал вперед себя штейгера, чтобы еще раз не напороться на «угощение».

Месть по отношению к шуваловской администрации принимала такие хулиганские формы нередко.

В 1900 году в контору заводского смотрителя во время «именинного» вечера, один оскорбленный им рабочий кинул в окно во время ужина стеклянную банку из-под варенья, наполненную человеческими испражнениями. Банка угодила на середину стола.

В этих поступках отдельных рабочих сказывалось неумение бороться коллективно против издевательств шуваловской администрации.

Лишь с организацией подпольной группы РСДРП некоторые из нас начали осознавать, что нужна коллективная борьба, и притом не с отдельными представителями капиталистического гнета, а со всей капиталистической системой в целом.

Живя подростком в рудничной казарме, в которой помещалось больше всего стариков-старателей, работавших еще

при крепостном праве, я много наслушался рассказов, о положении рабочих.

— Хорошо вам, молодым, теперь,— говорили старики,— никто вас силой не гонит на работу. Хочешь работай, хочешь нет. Драть вас за это розгами не будут.

Действительно, за невыход на работу или невыполнение «урока», т. е. установленной нормы выработки, нас не драли, но вместо розог был не менее свирепый бич, подгонявший нас,— голод.

И эксплуатация и издевательства были не менее тяжки, чем раньше.

Пережитки крепостнической эпохи долго держались в нашем заброшенном участке Урала.

Производственная техника на заводе и в рудниках за небольшими исключениями сохранилась почти до Октябрьской революции в том виде, в каком она была при крепостном праве. Почти полное отсутствие механизации в доменных работах, если не считать парового подъемника да небольших паровых насосов для отлива воды из шахт, ставило на первое место в производственной технике того времени мускульную силу рабочих.

Основные орудия труда — кайло, клин, балда, лом и лопата — оставались неизменными со времен крепостного права.

Правда, вместо лучин употреблялись полустеариновые свечи, а клин и балда изредка заменялись динамитом.

В остальном работа велась старинными дедовскими способами.

Кстати, и само освобождение от крепостной зависимости на нашем заводе проходило далеко не так, как старались изобразить казенные борзописцы.

Никакого энтузиазма со стороны рабочих не было. Не обошлось, конечно, и без легенды о том, что начальство зачитало-ненастоящий манифест, что подлинная «золотая грамота» скрыта от народа, и даже обвиняли в этом волостного старшину.

Объявление «манифеста», по описанию стариков, происходило в торжественной обстановке. Прежде всего, всех мужиков старше 25 лет согнали в церковь. После молебна жителей собрали на Базарной улице, где мировым посредником был зачитан «манифест». После чтения «манифеста» началось разъяснение уставной грамоты, в которой перечислялись условия освобождения. После этого мировой посредник поздравил жителей завода с освобождением и пожелал им «свободного труда на благо отечества».

Перед «освобождением» заводская администрация по директиве Шуваловых постаралась привести хозяйство к расстройству. Цель их заключалась в том, чтобы к моменту освобождения остановить завод, поставить «освобожденных» крепостных в положение безработных и этим добиться еще большего снижения и без того низкой зарплаты.

Действительно, не прошло недели после объявления манифеста, как рабочие увидели, что на заводе нет ни руды, ни угля, и дому нужно остановить.

По рассказам стариков того времени, многим рабочим пришлось пожертвовать своими банями, изгородями огородов, лишними конюшнями, чтобы заготовить уголь. Все опытные рудокопы были брошены на добычу руды, а лошади мобилизованы на подвозку.

Только благодаря настойчивости самих рабочих домна была спасена от остановки.

От земельных наделов население отказывалось самым решительным образом, сколько шуваловская администрация ни старалась всучить их всем. Отказ рабочих от земли был вполне резонен, так как, кроме вечных выкупных платежей, они бы ничего не получили. Каменистая почва и суровый климат, при котором, кроме огородных овощей, ничего не вызревало, делали бессмысленными все попытки заниматься земледелием.

У некоторых жителей была надежда, что в случае остановки завода владелец будет вынужден по закону переселить их на свой счет, куда они пожелают, и дать им другие на-



дела. Такой закон существовал в положении о заводах, но ни одним заводчиком не выполнялся. Да и распространялся он только на заводы, где работали посессионные крестьяне.

После «реформы» 1861 года у некоторых бисерских жителей появилось стремление бросить заводскую работу и уехать крестьянствовать в Сибирь.

Одним из таких пионеров переселения в Сибирь был и мой дед по матери. Однако таких смельчаков было немного, и их неудачи только усилили настроение большинства рабочих — крепче держаться за домну. Недаром сложилась поговорка: «Домнушка наша — кормилица наша».

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

В наш тяжелый быт живительную струю вносили рассказчики, сказочники и песенники. Рассказчики, сказочники были большей частью из стариков, песенники же, наоборот, из молодежи и средних лет рабочих.

Помню удивительного рассказчика Никанора Костарева. Он умел так увлекательно и ярко рассказывать о самых простых обыденных случаях из местной жизни, что его слушали буквально с разинутыми ртами, удивляясь тому, как чудесно преображались знакомые события и люди.

Люди нередко забывали даже о работе. Хватятся после конца его рассказа, а уже смены прошло час или полтора, ну и ругнут его:

— Эх, чорт бы тебя побрал, Никанор Михайлыч, на смену из-за тебя опоздал.

— А я тебя, братишко, за опояску к нарам не привязывал и ты мне не докладывал, что тебе на смену нужно итти, — отвечал Костарев.

Один раз, работая на поденной работе вместе с Костаревым, мы, шесть человек вместе с штейгером, просидели целых три часа, слушая один его рассказ. Штейгер, очнувшись, вскочил и заругался:

— Ах ты такой-сякой Никанорище, сколько из-за тебя работы не сработали. Вот возьму, да и спишу у всех у вас по полпогенщины за это.

— Нельзя, господин начальник. Раз начальство слушало, пришлось рассказ довести до конца. Твсе дело приказывать, а наше — слушаться.

Штейгер в ответ только сплюнул и убежал.

Знал я также одного замечательного сказочника. Он был уроженец Бымовского завода. Звали его просто, по-рабочему, Осташкой, что значило Евстафий. У него был неистощимый запас сказок. Он мог одну сказку рассказывать непрерывно часов восемь-девять. Кроме обычных сказок про царей-королей, царевичей, королевичей и прекрасных царевен-королевен, выходящих замуж за крестьянских парней, особенно любил он рассказывать про попов, попадей и поповен, не щадя даже святых. Богобоязненные старики подчас ругались:

— Ты, Осташко, тово, далеко с языком полез. Чего это в омерзительную сказку мать божью приписал?

Один даже заявил:

— Надо, мужики, батюшке заявить, чтоб он ему, поганцу, язык прижег.

Но Осташка был из отпетых зимогоров, которого ничем не запугаешь. Не прекращая сказки, он бросил в ответ старику:

— Беги, беги, старый хрыч, полижи попу грязную задницу, мало будет и старой попаде за одним.

Старики только сплюнули:

— Что с ним, с ответым варнаком, сделаешь. Ему, зимогору, все нипочем.

Осташку поддерживали рабочие помоложе:

— А если вам, старым, не любо слушать, сходите на двор. замажьте уши дерьмом, да и ложитесь спать.

Были в казармах свои доморощенные поэты, художники, карикатуристы, затейники. Раз даже завели на Кырменском руднике нечто вроде стенгазеты. Доской служил железный кожух кузнечного горна, на котором записывались события из рудничной жизни, а также «ви́рши» своих поэтов.

Из поэтических произведений большой популярностью пользовалась сложенная четырьмя рабочими эпопея про местного жителя Маточкина.

Привожу ниже эту песню. Современному читателю она, вероятно, покажется мало забавной и грубой по форме. В свое время она доставляла нам большое удовольствие. Заводские бандуристы распевали ее лет тридцать подряд.

Герой «поэмы», прославленный поэтами, получил от графа Шувалова пенсию 2 рубля в месяц, авторы же по два стакана водки не столько за сочинение, сколько за вокальное исполнение перед Шуваловым.

### ПЕСНЯ О МАТОЧКИНЕ

В Лысьве Маточкин жил,  
Наконец моты украл,  
В Бисер жить попал.  
В старой пыли по дороге  
Маточкин живет, эх, живет!

Он живет тут по-цыгански,  
Пьет чаишко по-дворянски,  
Каждый божий и два раза,  
Эх, два раза!

В обед он ел зверину,  
А вечером копчену рыбу  
И кофеем запьет,  
Эх, кофеем запьет!

Не хватило ему вари,<sup>1</sup>  
Отправлялся старик в Гори  
И всех зверей погнал,  
Эх, всех зверей погнал!

Звери храпели, бежали,  
Вниз по Койве продолжали,  
И прямо на шамью,  
Эх, прямо на шамью.

А шамья у него не лишняя,  
Но зато завел пальто пушоно,  
В нем и щеголят,  
Эх, в нем и щеголят!

---

<sup>1</sup> Пищи.

Филя Ешуров бежит,  
Чебуком ему грозит,  
Я те, старый пес,  
Зачем тебя чорт принес?  
Мы ведь сами рыболовы,  
Наши звери промысловы  
Принадлежат нам,  
Эх, принадлежат нам!  
У Промысловского Волчка  
Малич дал ему тычка,  
Эх, дал ему тычка.  
И вот рыболов уж в Тискосу  
Хлебает щучину в квасу.  
И еще судак клюет,  
Эх, еще судак клюет.  
Срежу мордвинную вицу<sup>1</sup>  
И сплету садок,  
И во этот во садок  
Посажу леней пяток  
И поплаваю так,  
Эх, поплаваю так!  
У речки у Рубежной  
Лесовщик идет надежный  
Ваня Третьяков  
Эх, Ваня Третьяков!  
А у речки у Вогулки  
Закусил французской булки  
У темного прилука  
Проводил он тут скуку  
И нюхал табачок,  
Эх, нюхал табачок!  
Он поухал<sup>2</sup> и послушал,  
Нет ли зверей и стаи птиц  
На Терситском плотбище,  
Старый пес в чаще бродил  
И все рыбу пугал.  
Но нашел он тут выдру  
В десять четвертей.  
Она стоит сто рублей  
И право, серебром  
Ах, право, серебром.

---

<sup>1</sup> Ивовый прут.

<sup>2</sup> Покричал

Как у речки он у Кырмы,  
Увидал следы медведя,  
И пошел лесовать,  
Эх, пошел лесовать!

Как у Бисеровского взвозу  
Поймал лесную козу  
И к лодочке ведет,  
Ведет козу на обротке  
И в лодочку кладет,  
Эх, в лодочку кладет.

А у самой Громовой  
Разговаривал с козой,  
Ты лежи, моя коза,  
Прижажмурь свои глаза.  
До заводу вплоть,  
Эх, до заводу вплоть!

Коза мяргала, лежала,  
Зверям голос подавала.  
У речки у Петровки  
Поймал он две кедровки,  
Тоже в лодочку кладет!

Как у самой Красной Глинки  
Он поймал лесную свинку,  
Также в лодочку кладет!

Как у самых Суводей  
Наловил он стерлядей.  
Угощу я Ермачиху и Щебачиху,  
А потом Бусыньку свою.

Буска кушала, хвалилась,  
Рыбной косткой подавилась  
И скоро умерла,  
Эх, скоро умерла!

Пользовался славой по части сочинения экспромтов и эпиграмм Павел Сергеевич Каменских, красивый, стройный парень, белокурый с большими голубыми глазами. Был случай, когда за одну эпиграмму на него хотели подать в суд за оскорбление личности. Она была сочинена на церковного регента Журавлева. Когда до нас дошел слух, что Журавлев подает в суд на Пашку Каменского, мы были все удивлены:

— Что это такое оскорбление личности?

Мы понимали оскорбление личности так: «Ну, ладно, один другому набил морду, иди заявляй в волостной суд».

Я тоже начинал проявлять способности карикатуриста, но за это чуть не поплатился жизнью.

Когда я работал осенью 1903 года кочегаром на шахте, меня машинист попросил написать картинку на тему, с кем воевал Бова-королевич.

Просьба его была вызвана желанием подразнить одного рабочего-плотника, по кличке «Полкан», к которому все приставал один рабочий-забойщик по кличке «Козел»:

— Скажи, Иван Ларионыч, ты грамотный человек, с кем это воевал Бова-королевич?

Плотник обычно отходил от «Козла» с руганью.

Я написал целую картину на большом прокладочном картоне, где изобразил партнером Полкана-рыцаря не Бову-королевича, а козла с метлой, а в качестве публики поместил управителя завода инженера Модзалевского.

Картина была написана двумя красками: красным свинцовым суриком и черной голландской сажой на олифе. Машинист приколотил мою картину высоко на стене, против двери кочегарки.

Вечером, часов в десять, пришел в ночную смену «Полкан» и задал свой обычный вопрос «Козлу». Тот сказал ему:

— А ты смотри на стену, Иван Ларионыч, с кем воевал Полкан-рыцарь. Ермаков дал ответ.

«Полкан» лишь только взглянул, взвизгнул, схватил острый плотничный топор и кинулся на меня. Я еле успел отскочить и выбежать из кочегарки. Рабочие стали стыдить его:

— Как тебе не совестно на парня бросаться, вот Иван Михайлович («Козел») нисколько не сердится, а смеется.

Действительно, «Козел» подошел ко мне:

— Ну и молодец ты Петька, какую картину сляпал. Берегите ее, ребята. А ведь как управителя смастерил, все в пропорцию, трубка, тросточка, козлиная борода и двойные шары.

Картину мою года три хранили, перевозя ее с рудника на рудник.

Второй раз за карикатуру один рабочий по кличке «Пеганко» чуть не размозжил мне голову деревянным ломком.

Кличка «Пеганко» рабочему была дана на романической почве. Когда-то этот рабочий ездил за сеном с одной вдовой, имевшей пеганую лошаденку. В картине я изобразил на первом плане любовную сцену, а в стороне плачущую от горя лошадь.

Мою картину приколотили на столб надшахтника. Я пришел взглянуть как выглядит она на свету и не заметил подкрадывавшегося сзади с ломком рабочего. Он уже размахнулся, чтоб нанести мне удар по голове, как один из татар крикнул:

— Ай, знаком, убьет тебя Пеганко!

Я мгновенно обернулся и, увидев занесенный ломок, бросился наутек по направлению к кузнице. К счастью, лишь только я заскочил в нее, кузнец машинально захлопнул дверь, и удар ломка обрушился на деревянную доску. Вероятно, такого удара мой череп не выдержал бы. Затем рабочий разразился ужасной руганью и угрозами по моему адресу. Кузнец стал его уговаривать:

— Да что ты, Михайло Иванович, так разбушевался. Что уж такого страшного парень сделал, за что стоило его убить?

Понемногу мужик отошел и обратно мы уже пошли вместе. Он журил меня дорогой:

— В кого ты, сукин сын, вышел? Отец твой, покойничек Петр Михайлыч золотой человек был, да и мать твоя, Марфа Егоровна, ни над кем худого слова не спустит. Доозорничаешь ты, свернут тебе голову. Ведь если б я тебя вгорячах нагнал, мокренько от твоей башки осталось бы. Из-за тебя в тюрьму бы пошел, а ребята мои по-миру скитаться бы стали.

— Ладно,— говорю,— Михаил Иванович, больше этими делами заниматься не буду и людей, которые меня подговаривают рисовать картинки, слушаться не стану.

После этого больше не стал рисовать карикатуры на людей старше меня, изредка рисовал на своих сверстников, но уже не маслом, а мелом или углем.

Рисование меня особенно не увлекало, мне больше всего нравилось лепить. Еще в раннем детстве летом из глины я вылепливал людей, животных. Зимой я был стеснен в материале. Когда уже очень соскучусь, наковыряю глины из щелей печки и отведу душу за лепкой, хотя от матери мне за это доставалось. Заметит, бывало, на лавке или лежанке забытую мною вылепленную фигурку, скажет сердито:

— Опять углан печь ковырял, и так всю издырявил.

Раз зашел я со своими товарищами по работе в пустующий корпус закрытого пудлингового цеха. Увидел в углу белую огнеупорную глину, помял в руках и говорю своим товарищам:

— Эх, ребята, вот из такой глины я бы наделал хороших фигурок!

— А ты попробуй.

Я, недолго думая, давай лепить амура, увиденного мною где-то на картинке. Через полчаса двадцатисантиметровая статуэтка была готова. Мои товарищи поставили ее на окно.

— Кто зайдет, пусть думает, что ангелочек к нам прилетел.

Заработавшись на разборке чугунной ломи, мы не заметили, как вошел управитель завода инженер Чемолосов. Спрашивает нас:

— Ребята, скажите, кто это слепил фигурку?

Я и мои товарищи в один голос заявили:

— Не знаем кто это сделал. Когда мы пришли работать, она стояла на окне.

— Неправду вы, ребята, говорите. Ведь работа свежая. Скажите, ничего тому не будет, кто сделал?

Но мы про себя думаем: «Да, скажи только, живо с работы вылетишь». Попытался он еще узнать через табельщика, заводского весовщика, ничего не вышло — мы крепко уперлись. Не знаю, что его интересовало — или то, что какой-то



заводский парнишка лепит статуэтки, или он хотел с работы выгнать за безделье — трудно сказать. Люди из народа относились с подозрением ко всей администрации — «не подвох ли какой кроется за ласковыми словами».

Все эти проявления поэтических и художественных способностей не выходили за границы узкого круга слушателей и ценителей. Сколько было талантливых людей среди рабочих, но жизнь не давала возможности им развернуться.

## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Уже в уличных песенках горняков середины 90-х годов проскальзывали злые нотки и ненависть к власти имущим:

Я гуляю по ночам,  
Не даюся богачам,  
Иному богачу  
Рыло на-бок сворочу.

Шуваловский слуга  
Изогнулся как дуга,  
А дай ему по морде,  
Он заскачет, а не я.

В конторе служаек много,  
Все обсчитывают нас,  
Ну, дождетесь вы невзгоды,  
Недостанет у вас глаз.

На Шувалова мы робим,  
А в карманах ни шиша,  
Управитель и смотритель  
Наростили брюха.

Частушек на шуваловскую администрацию было немало. Они уже улетучились из моей памяти, хотя сам я часто распевал их под гармошку, разгуливая ночью по улицам со своими товарищами.

Около 900-х годов стали проникать к нам песни города, заносимые пришлыми рабочими-«зимогорами». Из репертуара новых песен я запомнил: «Сухой бы я корочкой питалась»,

«Златые горы», «На берегу сидит девица, она шелками шьет платок», «По чужим людям я росла».

Среди молодежи появились песни известных русских поэтов: «Буря мглою небо кроет», «Коробейники», «Катери-нушка», «Под вечер осени ненастной», «Бурлак», «Ермак», романсы «Воспоминание», «В одной знакомой улице я помню старый дом» и ряд других. Песни классиков и романсы распевали молодые рабочие, уже начинавшие читать художественную литературу из конторской библиотеки, организованной одним из управителей в 1894 году.

Чтение художественной литературы накладывало на молодежь отпечаток некоторой культурности. Появились новые запросы. Например, костюмы стали шить уже у портного. Вместо косовороток начали носить рубашки с отложными воротничками с галстуками, вместо сапог — штиблеты.

Впервые я увидел штиблеты в 1893 году на литейщике, приехавшем в гости из Чусовой.

Когда мы, мальчишки, увидели его на улице в штиблетах, то от удивления закричали:

— Смотрите, ребята, парень в бабьих ботинках идет!

Мы долго не могли понять, почему ботинки называют штиблетами и зачем их носят мужчины. А когда сами подросли, то очень скоро усвоили преимущество этой обуви перед сапогами.

В обращении с людьми, особенно с девушками, стало проявляться больше вежливости, реже стала слышаться похабная ругань.

Конечно, это были еще единицы среди рабочей молодежи, но все же они своим поведением вызывали невольное уважение, и даже хулиганы в их присутствии невольно сдерживали себя.

Впервые мы услышали слово «политик» в феврале 1903 года, когда был произведен обыск у волостного писаря Чудинова и учителя местной школы Швецова. Вскоре у фельдшерицы на квартире арестовали старика Лебедева, перед этим всего за три дня приехавшего к ней.

Кто они были по убеждениям, к какой партии принадлежали — мы ничего не знали. Все эти люди не вступали в беседы с рабочими. Нам только было известно, что они «политики», а что это за «политики» — для нас оставалась тайной за семью печатями. Попытались мы разузнать о «политиках» у старых солдат, как у людей бывалых, но и они нам не смогли ничего ответить. Один, правда, рассказал, что когда он служил в конвойной команде, то ему приходилось сопровождать «политических» по этапу. По его словам вышло, что все «политики» — люди образованные и до того заучились, что не признают ни царя, ни бога. Сопровождать их прямо горе: бить нельзя, а уследить, чтобы не убежали — очень трудно, так как они знают такое слово, что их ни кандалы, ни стены тюрьмы не держат. Пока их ведешь, немало страху натерпишься, чтобы не убежали, так как они могут и винтовку заворожить, чтобы не выстрелила.

Вероятно, этот солдат во время своей службы в конвойной команде так был проинструктирован своим начальством относительно хитрости «политиков», что вполне верил в их фантастические способности уходить сквозь стены тюрем, разрывать кандалы «разрыв-травой» и «заговаривать» ружья.

Еще ходила в нашем заводе среди стариков легенда о «фармазонах», которые якобы обладали сверхестественной силой: снимали с себя какие угодно цепи, проходили невидимыми мимо людей и к тому же обладали волшебными деньгами. Последний рассказ произошел, вероятно, от легенды «о неразменном рубле».

Я знал одного старика, искавшего всю свою жизнь «фармазонский» рубль. Он всегда имел при себе рубль мелочи и, увидев у кого-нибудь серебряный рубль, тотчас выменивал его, чтобы испытать, не волшебный ли он. Над его поисками чудесного рубля все смеялись, но старик был упорен и до самой старости тщетно искал «неразменный рубль».

С началом русско-японской войны стали появляться доморощенные политики, обсуждавшие военные события и подвергавшие критике действия русских и японских генералов.

Русско-японская война вызвала среди рабочих интерес к газете. До этого рабочие вообще не интересовались газетами, большинство даже не имело представления, что такое газета и зачем она нужна.

Волостное правление, кроме официозных органов министерства внутренних дел, выписывало «Сельский вестник», «Пермские губернские ведомости» и гнусную архимонархическую газетенку «Свет».

Контора завода выписывала газеты: «Уральская жизнь», внепартийную профессорскую газету «Русские ведомости», «Русское слово» Сытина, прогрессивный орган «Пермский край» и журналы: «Мир Божий», «Ниву», «Вокруг света», «Русское богатство», «Живописное обозрение», «Русскую мысль».

Библиотекой и выпиской газет и журналов в конторе руководил бывший землемер округа, по старости лет переведенный в кассиры.

Это был человек для своего времени развитой, о чем свидетельствовал состав библиотеки, состоявшей из книг русских и иностранных классиков. Книги эти были большей частью приложениями к журналам, особенно к «Ниве». Из этих приложений, начиная с 1894 года, и собралась большей частью библиотека. Но обращаться в контору за газетами и книгами рабочие стеснялись. Лишь некоторые решались брать книги из конторской библиотеки.

Я брал книги из этой библиотеки через старшего брата, когда-то работавшего рассыльным в конторе. Эти книги я давал для прочтения своим близким товарищам. Особенно пристрастился к чтению один из моих сверстников столяр Петр Костарез, с которым мне пришлось вместе работать со дня организации партийной группы в Бисере, а затем вместе сидеть в тюрьме.

Мы читали без всякого критического подхода, интересуясь лишь фабулой, а также переживаниями героев, и не всегда, разумеется, могли осмыслить основную идею произведения.

Но даже и такое чтение расширяло наш кругозор.

Помню, какое сильное впечатление произвело на нас чтение «Астрономических вечеров» Фламмариона, и какими наивными показались нам после этого церковные сказки о сотворении мира.

Из художественной литературы особенно нам нравились: «Дубровский» Пушкина, «Тарас Бульба» и «Ночь под рождество» Гоголя, «Мцыри» и «Герой нашего времени» Лермонтова, «Казак» и «Севастопольские рассказы» Л. Толстого, «Записки охотника» Тургенева.

Мы знали наизусть многие стихотворения Некрасова: но крупные его вещи, как — «Декабристки», «Железная дорога», «Медвежья охота» и «Кому живется весело, вольготно на Руси» нам были совсем неизвестны. Их в библиотеке тогда не было.

С особенным увлечением читали мы исторические романы Данилевского, Мордовцева, гр. Салиаса, Лажечникова и Загоскина. По этим романам мы впервые познакомились с историей восстаний Разина, Болотникова, Пугачева, гайдамаков на Украине — Зализника, Саввы Чалого и др. У Данилевского я запомнил роман «Беглые». Несмотря на слащавость романа, восхваление справедливости «гуманных» представителей самодержавия, все же бессознательное возмущение безнаказанностью правящих классов над беззащитными людьми из низшего сословия глубокой обидой врезалось в наши сердца.

Из произведений Достоевского мы прочитали «Записки из Мертвого дома» и «Братья Карамазовы».

Осенью 1903 года к нам на завод приехал высланный из Петербурга студент-горняк. Звали его Александр Викторович. Он прожил у нас около года в должности горного смотрителя и сумел заслужить такую любовь и уважение среди горнорабочих, что его прозвали «отцом рабочих».

Его простое и чуткое отношение к рабочим резко отличалось от обычных для всей шуваловской администрации грубости и бездушия. Он хорошо знал положение рабочих и старался многосемейным рабочим давать более выгодную работу.

Он ввел уплату одиноким рабочим, получившим увечья, по 20 коп. в день, а семейным—по 40.

Большую популярность он приобрел незадолго до своего ареста благодаря следующему случаю: в сентябре всех служащих завода, работавших с 1902 года, шуваловское заводууправление премировало месячным окладом. Бухгалтер конторы преподнес премию и Александру Викторовичу.

Последний в сильном гневе бросил деньги на пол со словами: — Как вам не стыдно получать и даже мне предлагать выпитую из рабочих кровь.

И в сильном возбуждении убежал из конторы.

Сцена эта произошла в присутствии народа. В эту осень многим служащим поггло от рабочих темными осенними вечерами.

С Александром Викторовичем мне пришлось столкнуться два раза. Первый раз весной 1904 года, когда я работал масленщиком-кочегаром на водоотливе шахт.

Дело было за четыре дня до Пасхи. Я договорился с машинистом и другим масленщиком, что откачивать воду из шахты буду я, а затем после праздника буду гулять две недели. Это наше решение должен был утвердить штейгер, тем более, что я оставался совершенно один в руднике за двадцать с лишним километров от завода.

У штейгера мы застали Александра Викторовича. Он приехал проверить, что сделано для остановки шахты на восемь дней праздника.

Узнав, что я решил остаться один в руднике и беру на себя ответственность за незатопление шахты, он был очень удивлен смелостью:

— Как ты не боишься? А вдруг прозеваешь и затопишь шахту? Да и не страшно ли будет тебе одному ночью ходить в шахту смазывать насос?

— Ничего, — говорю, — Александр Викторович, башкой ручаюсь, что шахту не затоплю.

— Ну, ладно, если шахту не затопишь — гуляй потом две недели.

Мой старший брат, узнав, что я остался в руднике, послал мне для праздника бутылку водки.

В первый день Пасхи, выкачав утром из шахты воду, я пришел в казарму, сварил себе из соленых лещей уху и за ухой выпил всю водку. После этого я грохнулся спать как убитый и проспал до одиннадцати часов ночи. За это время я пропустил две откачки. Я бросился к шахте, кинул в отверстие кусок руды и услышал всплеск воды. Значит, вода вышла из копеша (зумпфа) и затопляет работы.

Я стал немедленно разогревать котлы и, пока пар в котлах поднимался, спустился в шахту, чтоб закрыть у насоса продувные краны. Когда я дошел до насоса, то увидел, что он уже затоплен.

Что делать? Не закрыв краны, насос в ход непустишь. Я решил нырнуть в ледяную шахтную воду и для этого вниз головой спустился по скользкой шахтной лесенке.

Нырнув в воду, я добрался руками до кранов, закрыл их и вылез наверх. Получив необходимое давление пара, я пустил насос. К счастью, насос, хотя и не смазанный, не закапризничал, только заскрипел золотниками и поршнями.

Через час половина насоса оголилась, и я смог произвести смазку.

Встреча Пасхи обошлась мне дорого. Я был вынужден работать непрерывно 16 часов. Я сам подкатывал в кочегарку дрова, кидал их в топку, а через каждые два часа спускался в шахту для смазки насоса. Но как ни тяжело было, я все же был доволен, что сдержал слово перед Александром Викторовичем и не затопил шахту. Конечно, с моей стороны было безумием одному нырять в шахте вниз головой. В тесном проходе я мог легко утонуть, оборвавшись с лесенки.

Второй разговор с Александром Викторовичем был у меня летом 1904 года по поводу моего участия в очередной молодежной драке.

На другой день после драки он вызвал меня к себе и хотел меня оштрафовать на рубль. Я возмутился и потребовал, чтоб меня судил волостной суд, а не контора.

За эту драку я потом получил семь суток «отсидки» в чижовке при волостном правлении. («Отсидку» старшина потом заменил тремя днями общественных работ).

Александр Викторович начал меня стыдить за драки: — Ну зачем вы деретесь, только головы один другому ломаете. Лучше занялись бы чем-нибудь другим.

А вот чем,— этого он мне так и не сказал, хотя интересовался, читаю ли я книги и какие.

Он так и не сказал мне, что, кроме художественной литературы, существует и другая, политическая, которая, действительно, через два года после описанной беседы заставила меня забросить драки и целиком отдаться другим интересам.

Пребывание Александра Викторовича в Бисере оставило большой след среди рабочих.

Когда его арестовали в сентябре 1904 года, я в этот день работал на руднике за 23 километра от завода. К нам специально с этим известием прибежала жена рабочего Паригина. Вся в слезах она стала звать рабочих идти спасать человека.

Это сообщение взволновало нас всех. Работу бросили. Началось обсуждение, что делать. Молодые хотели сейчас же бежать в завод и разогнать жандармов. Старики предложили написать прошение губернатору, чтоб Александра Викторовича освободили по просьбе рабочих, но потом пришли к заключению, что это бесполезно, так как «ворон ворону глаз не клюет». Поговорили, посудачили и пришли к выводу, что контора съела хорошего человека, так как «он им не по губе пришелся».

Разумеется, Александр Викторович ничего радикального не сделал для облегчения положения рабочих, но его гуманное отношение к рабочим, не выдавшим доброго внимания ни от одного администратора, создало к нему любовь и уважение.

Мы тогда плохо понимали, что изменение нашего положения зависит не от личностей, а от всего строя жизни. Но



все же то, что Александр Викторович — «политик», заставило нас крепко задуматься и прийти к выводу, что «политики» — хорошие люди. Почему они идут против царя и бога — мы никак не могли понять. Ведь «батюшка» и другие степенные люди говорили, что бог и царь всех жалеют, и только злые начальники виноваты в нашем тяжелом положении.

Для того, чтоб хоть что-нибудь узнать о «политиках», мы с Петром Костаревым пошли к волостному писарю, который, по нашему мнению, знал все. Он объяснил нам, что есть такие люди, которые хотят убрать царя и вместо него посадить на несколько лет выборного президента как во Франции или в САСШ, и что в этих странах такая свобода, что можно говорить о чем хочешь.

Больше ничего он нам не мог рассказать.

Попытались мы еще поговорить с сыном священника, недоучкой, который от нечего делать на отцовских хлебах баклуши бил, но и он нам ничего не смог сказать, ограничившись фразой: «Политика это такое дело, что вам его не понять».

Так мы с Костаревым мучились над вопросом о «политике» около года, не получая ни от кого ответа.

## ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Осенью 1904 года мы решили поехать куда-нибудь в большой завод, разыскать «политиков» и узнать, кто они такие и чего хотят. К нам в это время присоединился еще один товарищ — Яша Просвирнин, молотобоец.

И вот в декабре 1904 года мы решили, что Костарев и Просвирнин поедут в Чусовской завод искать «политиков».

В Чусовском заводе они быстро нашли нужных людей, познакомившись с токарем социал-демократом Николаем Балашовым, приехавшим в Чусовую из Тейкова, Ивановской области.

Чусовская организация поручила моим друзьям разбросать по улицам прокламации по поводу расстрела рабочих 9 января.

Дело было в конце февраля 1905 года. Мои друзья от радости, что они не только нашли «политиков», но и участвуют в их работе, с большой охотой взялись разбросать по Чусовой революционные прокламации.

В своем рвении они стали разбрасывать прокламации среди бела дня в воскресенье, не соблюдая самых элементарных правил конспирации.

Не прошли они и трех кварталов, как были схвачены полицейскими и доставлены к становому приставу. В тот же день их отправили в Пермь в распоряжение жандармских властей. Так неудачно закончился первый дебют моих друзей на политическом поприще. Еще не уяснив себе, что такое «политика», они попали в Пермскую губернскую тюрьму.

Прошло недели две.

В один из воскресных дней, около полудня, ко мне на квартиру явился полицейский урядник и заявил, что он получил от жандармского управления из Перми приказание арестовать меня и еще двоих рабочих — Павла Каменских и Петра Уткина — и к 10 часам вечера доставить нас на станцию, так как нас требуют жандармы по политическому делу. Было видно, что урядник сам был удивлен, что каких-то рудокопов требуют за «политику».

Весть о том, что нас должны отправить к жандармам, быстро облетела весь завод и вызвала всеобщее недоумение.

Мы никак не могли понять — зачем нас хотят арестовать и зачем мы нужны жандармам.

Вечером урядник всех нас повез на земских лошадях на станцию.

Вскоре из Перми пришел поезд, с которым прибыл жандармский подполковник и товарищ прокурора. Через полчаса я предстал перед ясными очами начальства. Подполковник крикнул жандармам:

— Подать стул господину Ермакову.

Затем он раскрыл портсигар и предложил мне папиросу. Я от его любезности отказался, так как где-то слышал, что есть папиросы, которыми можно одурманить человека.

Начался допрос. Товарищ прокурора и подполковник сладкими голосами стали спрашивать меня, где я работаю, тяжелая ли у меня работа, много ли зарабатываю?

Дальше они стали интересоваться: кто мои товарищи, как мы проводим время, читаем ли книги, газеты, не читал ли я каких-нибудь листовок?

После часового допроса они перешли к моим отношениям с Костаревым и Просвирниным. Тут я догадался, что визит жандармского подполковника и товарища прокурора к нам связан с провалом моих друзей в Перми.

В то же время я почувствовал, что от знакомства с ними мне нельзя будет отказаться, так как все в заводе знали о нашей закадычной дружбе.

На вопрос знаю ли я их, я ответил развязно:

— Как же, хорошо знаю, вместе по вечерам ходили, вместе дрались и вместе водку пили.

— Не хотели ли они вам чего-нибудь послать?

— Да, они должны послать мне долг — сорок копеек. Я давал им на бутылку водки во время отъезда, — ответил я с самым невинным видом.

Мое показание как раз совпало с показанием Просвирнина. Когда при обыске у них на квартире нашли на столе незаконченное письмо на мое имя, которое обрывалось фразой: «мы тебе посылаем», то они сказали на допросе, что собирались послать мне долг 40 коп.

На самом деле они хотели послать мне политическую литературу.

Относительно чтения я сказал жандармам, что нам, рабочим, читать книги некогда, читал лишь раза два «Сельский вестник».

Они попросили меня рассказать о Каменских и Уткине. — Что это за люди.

Про Каменских я сказал, что он хорошо на гармошке играет и девки его шибко любят за это. Уткина я определил коротко — мужик женатый, с нами не якшается и на вечерки не ходит.

Очевидно, жандармский подполковник и товарищ прокурора решили, что от нас никакой «политикой» не пахнет; допросили немного Каменских и Уткина и объявили, что они могут быть свободны.

А мне заявили:

— Тебя отпускаем под надзор полиции, и ты будешь жить под наблюдением урядника.

Я еще не знал, что значит жить под надзором полиции и спросил подполковника:

— А это как я буду жить? При волости или дома?

Он разъяснил мне:

— Во-первых, ты не имеешь права никуда отлучаться из своего завода. Второе, ты должен ходить отмечаться к уряднику, чтоб он знал, что ты находишься дома. В-третьих, ты должен сообщать уряднику о всяких разговорах против властей. Если ты не будешь выполнять этого, то мы тебя посадим в тюрьму.

После допроса я стал самым популярным человеком в заводе. Часто приходилось на улице слышать разговор о себе:

— Ты, смотри, брат, ведь Петька Ермаков не простой человек, он «политический». Даже генералы приезжали из Перми с ним разговаривать и велели его не пешком гнать на станцию, а подали земских лошадей.

Моих земляков очень удивляла происшедшая со мной метаморфоза, когда я из обычного заводского парня, который ничем особенным не выделялся, так же, как и другие, гулял на вечорках, попивал водочку и время от времени развлекался молодежными драками, вдруг стал другим человеком, с таинственным названием «политик».

Всех очень интересовало то обстоятельство, что месяца за четыре до ареста моих друзей я решительно изменил свое поведение: перестал пить, участвовать в драках и стал редко показываться на вечорках.

Все стали относиться ко мне с уважением, точно я был степенный пожилой человек, хотя мне было всего лишь

20 лет. Вместо Петьки стали называть Петром Петровичем, а товарищи по работе — Петей.

Из трех пунктов наставлений жандармского подполковника я выполнял один — никуда не выезжал. Уряднику я заявил коротко и решительно:

— Если ты меня будешь беспокоить, то вспомни, что я тебя раньше лупил без политики, а теперь налуплю с политикой.

Урядник, нужно сказать, был изрядный трус. Он оставил меня в покое, и я у него ни разу не был для отметок.

По третьему пункту «о противоправительственных разговорах» мне пришлось с первых же дней после допроса вести эти разговоры самому.

В это время, хотя и в виде смутных слухов, до нашего медвежьего угла дошли сообщения о расстреле питерских рабочих 9 января.

Рабочие обратились ко мне, как к «политику», с расспросами — почему царь расстрелял рабочих, шедших к нему с хоругвями и иконами. Зная об этом событии столько же, сколько они, я дал самое простое разъяснение: царь «стакнул» с начальством и перешел на их сторону.

Логика приводила нас к выводу, что раз царь изменил народу, то нужно его убрать и выбрать нового.

Но как? Мы читали еще в школе, что новгородцы выбирали князей на вече, Романовых выбирал Земский Собор.

А вот кто соберет Земский Собор, мы никак не могли придумать.

Помню беседу с волостным писарем о государственном устройстве в Америке и во Франции.

Я сказал ему, что царей вообще не нужно больше. Лучше выбрать президента года на три, вроде того, как мы выбираем старшину. Если плохо будет править, выбрать другого.

Писарю эта мысль показалась дерзкой:

— Что ты, парень, да как это можно русскому народу без царя? Мы, ведь, не басурманы какие-нибудь, а православные христиане.

Словом, судили, рядили и согласились на том, что царя Николая надо убрать, но как и кем его заменить — выхода не нашли.

Месяца через полтора Костарева освободили из тюрьмы по поручительству родителей под надзор полиции, спустя три месяца на тех же условиях освободили Просвирнина.

Так в Бисере оказалось уже целых три доморощенных «политика».

Их приезд еще больше возбудил интерес к «политикам».

К сожалению, идейно-политический багаж, вывезенный моими приятелями из «командировки» в Чусовую, оказался крайне незначительным.

Все, что они успели за это время узнать, заключалось в том, что они видели у токаря Балашова на столе «Капитал» Маркса и политэкономию Богданова. Да еще слышали в тюрьме, что для борьбы с самодержавием нужно организовать политическую партию. Какую партию, как ее организовать и что она должна делать — это для моих друзей осталось тайной за семью печатями.

Все же мы решили организовать политическую партию. Для этой цели стали вовлекать в свой кружок молодежь.

В июне 1905 года к нам случайно попала гапоновская прокламация по поводу «9 января», начинавшаяся словами: «Кровью спаянные братья...» Мы решили ее переписать и в копиях давали читать надежным ребятам.

Затем у поповича достали тексты революционных песен: «Марсельезы» и «Смело, товарищи, в ногу», да Просвирнин сообщил нам народовольческий гимн «Смело, друзья, не теряйте бодрость в неравном бою». Мы их разучивали вполголоса.

На собраниях Просвирнин, как старый «политик», давал указания о соблюдении конспирации:

— Если кто заметит постороннего человека, должен дать знак словом «ша!»

Если когда-нибудь будут допрашивать жандармы, то нужно отказываться от каких-либо показаний.

Читая попадавшие изредка к нам газеты, сообщения о происходящих забастовках, мы чувствовали, что надвигается что-то большое, к чему мы должны быть готовы, и старались привлечь в свой кружок как можно больше людей.

Наши политические познания ограничивались тем, что можно жить без царя, можно обуздать произвол начальства — обо всем этом якобы сказано в «Капитале» Карла Маркса и в политэкономии Богданова.

Но так как никто из нас в эти таинственные книги ни разу не заглядывал, то для нас было мучительнейшим, неразрешимым вопросом — как это сделать?

Вспомнил я о прочитанных когда-то исторических романах о крестьянских восстаниях Степана Разина и Пугачева, но даже и нам было ясно, что времена пугачевщины уже отошли.

Нашли мы в какой-то книжонке манифест Пугачева, из которого нам понравились два лозунга: «Все земли, реки, озера, рыболовные угодья должны стать собственностью народа». И второй: «Руби столбы, заборы сами повалятся», т. е. уничтожай дворянство, а самодержавие само падет.

Эта установка чуть было не увлекла нас на ложный путь.

Мы стали подумывать об ограблении динамитного склада. Но нас в этом предупредили эсеры, о существовании которых на заводе мы совершенно не знали. В июле 1905 года ими была совершена экспроприация динамитного склада, находившегося в двух с половиной километрах от завода, на Висимском руднике. Экспроприация была совершена очень бестолково и на другой день их арестовали.

Так мы жили и стремились создать политическую партию, не представляя себе ни ее целей, ни форм организации, а лишь чувствуя, что что-то нужно делать.

Пожилые рабочие не могли понять, чего мы хотим, и когда мы пытались заинтересовать их своей политической партией, они от нас равнодушно отходили. Их не удовлетворяли наши наивные цели — убрать царя и начальство.

— Ну, а дальше что? — спрашивали они.

И наш ответ:

— «А там устроим все, как нам надо», — не мог не расхолаживать их.

## ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Лишь октябрьские события 1905 года в связи с всеобщей политической забастовкой и манифестом Николая II поставили на ноги нашу группу и дали ей оружие в виде газет, листовок и прокламаций.

Сообщение о «манифесте» мы получили 18 октября, часов в одиннадцать ночи. Как раз в этот вечер в моей квартире собралось человек шесть из кружка. Неожиданно дверь раскрылась, и с телеграммой в руках влетел слесарь депо Михаил Свиязев.

Прочитав известие о «свободах», мы закричали «ура». После небольшого совещания решили идти по улицам и провозглашать свободу.

Наше выступление на улице с революционными песнями в глубокую осеннюю ночь произвело ошеломляющее впечатление на всех жителей. Спешно стали зажигаться огоньки пяти-семилинейных керосиновых ламп, и в небольших оконцах рабочих избушек появились встревоженные лица.

Более любопытные вышли на улицу, стараясь выяснить, что за люди поют страшные слова об отречении от старого мира?

Некоторые подходили к нам и спрашивали:

— Почему вы, ребята, запрещенные песни поете? Ведь вас полиция арестует.

В четыре часа утра мы разошлись по домам, а Свиязева отправили обратно на станцию за новостями.

На другой день весь наш кружок уже открыто выступил в волостном правлении с разъяснениями текста телеграммы.

Нам хотел было помешать урядник, но мы так на него дыкнули, что он немедленно скрылся из волостного правления.

Полуграмотный урядник был не менее нас ошеломлен появившейся телеграммой и от растерянности не знал, что



предпринять: от пристава не было никакого циркуляра, а жандармы на станции почему-то пропустили телеграмму.

Сбитый с толку нагрянувшими событиями, он укрылся, как сурок, в своей норе-квартире, выжидая своего часа.

«Свобода» в нашем заводе воспринималась различно. Не обошлось, конечно, и без открытого недовольства со стороны отсталых элементов. Когда я разъяснял пункт о неприкосновенности личности, один из рабочих-коновозчиков задал вопрос:

— Что же я теперь свою бабу не имею права побить? И, получив ответ, грубо выругался:

— А ну, вас к такой матери с вашими свободами. Бил свою бабу и буду бить, а попробуйте суньтесь, топором угощу.

Вскоре после получения телеграммы пришел ко мне в забой смотритель рудника и спросил:

— Ну, с представителем каких убеждений имею честь говорить?

— С представителем рабочих,— сказал я.

— Нет, все-таки я хочу знать, с представителем какой партии имею дело, чтобы так и вести разговор.

— У нас может быть один разговор: администратора с рабочим.

Он пожал плечами и ушел из забоя.

Все революционные организации того времени в большом изобилии выпускали литературу, прокламации, листовки. Эта литература стала проникать в наш Бисер.

Лишь в этот момент мы узнали, что существуют различные политические партии, имеющие каждая свою программу.

Достав программы трех партий: РСДРП, социал-революционеров и анархистов, мы стали обсуждать, к какой из трех партий примкнуть.

Программу анархистов мы скоро отвергли: не согласились с их лозунгами «всякая собственность есть кража» и «всякая власть есть насилие». По первому пункту мы пришли к выводу: попробуй, скажи нашим рабочим, что твоя избушка

есть кража, они такую кражу пропишут, что только пух один останется. По второму пункту мы нашли, что без власти жить нельзя. Царя прогнать, Шуваловых выгнать, надоевших до чортиков некоторых администраторов убрать — это верно, но нельзя же быть и при таком положении, когда, как говорили старики «кто первый палку взял, тот и капралом стал».

К тому же несколько месяцев мы агитировали за народную выборную власть.

Стали знакомиться с эсеровской программой. Она нам тоже не понравилась; к нам, рабочим, она не подходила. Один из кружковцев окрестил ее «партией старого лаптя».

Остановились на программе РСДРП. Нас не только подкупило название «рабочая партия», но и пункты требований программы содержали как раз то, что мы искали.

У нас вышел спор, какую принимать из ее частей: минимум или максимум? Решили, что теперь время уже не минимума, а максимума.

С этого времени вербовка в партийную организацию пошла более успешно.

С каждым днем авторитет наш рос, и за небольшой срок мы сумели сколотить партийную группу до двух десятков человек, кроме того, имели сочувствующих.

Пропаганду мы вели во время работы. Созывали летучие митинги в забое или же индивидуально обрабатывали отдельных забойщиков.

Свою агитацию и пропаганду мы всегда иллюстрировали примерами, касавшимися условий труда, заработной платы, жульничества администрации и других животрепещущих вопросов рабочей жизни. Это давало нашей группе огромный авторитет среди рабочих.

Скоро мы поняли, какова «незыблемость основ и широта тех свобод», которые дал царь.

Стали готовиться не столько защищать «дарованные свободы», сколько добиваться их. Мы также поняли, что нужно не только агитировать и пропагандировать, но и организовывать рабочих.

Нашу организационную деятельность очень затрудняло незнание устава партии и полное незнакомство с формами организации партии. Однако сама жизнь подталкивала нас и заставляла находить пути к разрешению стоявших перед нами задач.

Первыми организаторами партийной группы пришлось стать нам троем: Костареву, Просвирнину и мне.

Я взял на себя рудники, Костарев—завод, а Просвирнин—остальное население.

Успешнее всего организационная работа пошла у нас в руднике.

За короткий срок удалось привлечь больше десятка горнорабочих, и все наши мероприятия находили среди рабочих активную поддержку.

В заводе на первых порах Костарев потерпел неудачу. Он повел агитацию не среди доменщиков, а среди квалифицированных рабочих—слесарей, кузнецов и столяров, не учтя того, что в нашем заводе эти квалифицированные рабочие составляли как бы особую замкнутую потомственную касту, из рода в род наследовавшую мастерство.

Потерпев неудачу среди мастеровых, Костарев развернул работу среди доменщиков с гораздо большим успехом.

Работа Просвирнина среди «неорганизованного» населения тоже давала результаты, и ему удалось вовлечь в партию несколько молодых коновозчиков, главным образом из «сергинцев», или как у нас их называли «гамаюнов». Он же привлек в качестве сочувствующего волостного писаря Кокшарова, через которого мы в апреле 1906 года сумели связаться с Пермским окружным комитетом РСДРП. Между прочим, летом 1906 года Кокшаров выдал нам из волостного правления для Пермского окружного комитета РСДРП 120 паспортных бланков.

Создав партийную группу, мы почувствовали свою ответственность перед рабочими не только за агитацию и пропаганду, но и за свои действия.

Теперь уже никто не узнал бы в нас прежних заводских

парней — участников драк и гулянок. Происходил большой внутренний перелом.

Гром революции 1905 года указал нам — на что рабочему расходовать свою буйную силу и молодую, искавшую выхода, энергию.

Мы следили по газетам и прокламациям за тем, что делалось в других городах и заводах.

Как только мы узнали из печати, что рабочие для руководства борьбой против капиталистов создают Советы Рабочих Депутатов, мы в ноябре 1905 года также организовали у себя Бисерский Совет Рабочих Депутатов в составе девяти человек.

Совет был создан в большинстве из рабочих-горняков; от завода было только двое.

В состав Совета попала вся наша тройка «старых политиков» и горнорабочие: Вялых Иван, Ощепков Игнатий, Винокуров Гавриил, от завода — Костарев и Поспелов Александр (машинист на подъемнике шахты). Фамилии двух последних депутатов я забыл.

Совет очень быстро завоевал себе известность и авторитет. От имени Совета мы предъявили администрации завода около 14 требований различного рода.

Из них мне напомним следующие: повышение минимума позабойной платы за горную кубическую сажень с 6 до 11 р. дополнительная оплата крепления вспомогательной крепью в забоях, бесплатная доставка на рудники котомок с продуктами рабочих, заготовка разделанных дров для отопления казарм и барачных, периодическая проверка рулеток и весовых гирь в продуктовых магазинах, установление шестичасового рабочего дня в забоях, согласование с Советом приема и увольнения рабочих, запрещение сверхурочных работ, вежливое обращение с рабочими.

Мы заставили администрацию в лице управителя завода инженера Дьяконова и смотрителя рудников подписать все предъявленные требования, а для того, чтобы администрация не отказалась потом от их выполнения, заставили скре-

пить подписью представителя государственного горного надзора окружного горного инженера Тшасковского. Подписью окружного инженера особенно были довольны рабочие.

— Ну теперь, брат, шалишь, что написано пером, не вырубишь топором,— говорили они.

Конечно, эта вера в «незыблемость» подписи царского чиновника была очень наивна.

Подпись окружного инженера с надписью «утверждаю» была им сделана в обстановке не совсем обычной. В помещение конторы собралась возбужденная толпа рабочих. В присутствии народа инженер не решился нам отказать. Первый успех воодушевил нас.

От экономических вопросов мы перешли к общественным. В ноябре мы отстранили от должности урядника, заявив ему:

— Катись, валенки, куда хочешь, чтоб духу твоего здесь не было.

Он упросил нас оставить его жить до весны с ребятишками.

Затем добрались до «батушки», вернее, до его доходов. На общем собрании «общественников» вынесли такое постановление: Пункт 1—воспретить попу без разрешения хозяев квартир заходить с разными молитвами, святыми водичками и т. д. с целью извлечения доходов с мирян. Пункт 2—отменить жалование от общества.

Это постановление явилось для священника таким неожиданным ударом, что он никак не хотел поверить.

Взбешенный прибежал он в волостное правление и набросился на волостного старшину:

— Это верно, что вчера меня лишили жалования и ввели какую-то таксу на святые таинства?

Получив от старшины утвердительный ответ, он еще больше рассвирепел и стал орать:

— Так меня общество наградило за тридцатилетнюю службу в храме божием! Да я тебя вместе с политиками упеку в Сибирь!

В этот момент я сидел за столом волостного писаря и пр-

верял протокол собрания. Услышав ругань, я не выдержал и сказал:

— А за какие такие заслуги тебе жалованье платить? Или за то, что ты народ обираешь, с живого и мертвого гребешь?

Мои слова окончательно вывели из себя «батюшку», и он с кулаками, брызгая слюной, накинулся на меня:

— Это вы, арестанты, спутали народ, да я тебя...

Поп физически был очень сильный человек, поэтому я в свою очередь схватил с окна бутылку из толстого стекла и заявил ему:

— Попробуй, долговолосый, сунься ко мне, я тебе раскрою харю бутылкой.

Нашей рукопашной схватке помешали старшина, писарь и староста, оттащив нас друг от друга.

«Батюшка» убедился, что ничего не поделаешь, побежал вон из волости с угрозами:

— Я вам все припомню!

А я ему вслед:

— Ладно, беги, долговолосый жандарм в рясе!

Старшина и староста — оба из рабочих-горняков стали мне пенять за вспыльчивость, которая могла, по их мнению, худо кончиться.

Это было в конце декабря 1905 года. Долго после этого священник не показывался на улице, а когда стал выходить, то, заведя кого-нибудь из «политиков», старался свернуть в сторону.

С нашим постановлением ему все же пришлось считаться. Через несколько дней после собрания подошло Рождество.

Прежде он забежал в каждый дом, не спрашивая согласия хозяев дома. Теперь ему пришлось взять церковного сторожа, который бежал впереди и стучал в окно с вопросом:

— Православные, принимаете батюшку или нет?

Мы узнавали заранее какую он наметил себе улицу и наблюдали издали, где его принимают и где нет. Если замечали, что его не приняли, мы громко спрашивали:

— Что, сорвался двугривенный?

Это окончательно приводило его в ярость.

Некоторые старики пытались встать на его защиту, но большого сочувствия не встретили, так как своею жадностью поп всем был известен.

Мы взяли под свое влияние волостное правление. В волостные старшины был избран рабочий-горняк Кычев. Волостной писарь Кокшаров также нам помогал.

Старшина время от времени информировал нас о мерах, предпринимаемых урядником и стражниками. В помещении волостного правления мы проводили политические беседы среди населения. Это было единственным пристанищем, где рабочие в свободное от работы время могли перекинуться словами между собой.

Нашей партийной группой была вновь открыта библиотечка, закрытая в 1903 году земским начальником за наличие в ней таких «крамольных» книг, как сборник стихотворений Некрасова и роман Золя «Углекопы».

Библиотечка была нами открыта, конечно, без всякого разрешения начальства, в явочном порядке. Она была очень небольшая (около ста книг).

Библиотека на первых порах сыграла большую роль в деле привлечения рабочих. Каждый вечер помещение волостного правления было битком набито, и собиравшиеся рабочие с жадностью слушали нашу пока еще неумелую агитацию и пропаганду.

Мы уже сознавали, что ограничиваться простым чтением нельзя, поэтому каждую прочитанную вещь комментировали и разъясняли.

И часто во время чтения слышались реплики: «Вот это нам, ребята, подходит, или «вот это нам не нужно, это для господ».

Вскоре мы пришли к выводу, что одной голой агитации мало, нужно ее подкреплять какой-то практической деятельностью.

В первую очередь мы обратили свое внимание на общество потребителей. Оно в то время играло большую роль для рабочих, имея оборот свыше двухсот тысяч рублей.

Все руководители, как председатель, члены правления и казначей были служащие, за исключением одного рабочего, состоявшего членом ревизионной комиссии.

В порядке кооптации мы ввели в правление общества потребителей депутата Совета Рабочих Депутатов — Вялых Ивана (из нашей тройки ни я, ни Костарев, ни Просвириин не имели права быть членами правления, как не достигшие совершеннолетия, т. е. 25 лет).

Правленцы неприязненно встретили представителя Совета, заявив, что кооптация не предусмотрена уставом общества, но мы все же убедили их в том, что Совет Рабочих Депутатов имеет право это делать.

С появлением в правлении депутата руководители приостановили свое вольное хозяйничание в обществе, тем более, что Вялых был немного знаком с торговым делом, проработав год продавцом в кооперативе.

В половине января 1906 года, на общем годовом собрании членов пайщиков прежний состав правления переизбрали, введя в него уже согласно уставу пять членов правления из рабочих.

Из прежнего состава оставили лишь председателя лесничего Скудовича, как одного из первых организаторов общества в Бисере в 1894 г., а также казначея и бухгалтера.

Выбранные в правление рабочие быстро навели свой порядок и устранили вопиющие безобразия, творившиеся при прежнем правлении.

Нашей группе пришлось положить много труда и борьбы, чтоб вывести из общества потребителей жульничество и плутни старых правленцев. Вся деятельность общества потребителей подверглась жестокому рабочему контролю. Это в свою очередь еще больше подняло авторитет нашей группы. Часто можно было слышать от рабочих по нашему адресу:

— Вот возьми ты наших политиков — молодые ребята, а как заворачивают! Мужиков сумели к лавке приставить и волю служащих скостили, а, главное, начальство их побаивается.



Но успехи не кружили нам голов. Мы сознавали, что обольщаться достигнутым нельзя, что это еще робкие шаги, а вся борьба предстоит впереди. Однако наши успехи хоть и небольшие, а все же двигали вперед сознание рабочих, впервые услышавших о классовой борьбе, о социализме.

Во время «свобод», когда полицейские власти растерялись особенно, после того, как низвели урядника с его пьедестала «недреманного ока», начали увеличиваться уличные драки среди молодежи.

Наша партийная группа приняла меры к уничтожению этого бытового явления. Разумеется, мы драчунов в волостную кутузку не таскали, а применяли метод морального воздействия, убеждали их:

— Ребята, теперь время не то, чтоб рабочим один другого лупить. Нужно идти бить нашего общего врага — царскую власть и капиталистов.

Через короткое время мы сумели почти совершенно прекратить драки.

Совет Рабочих Депутатов с каждым днем завоевывал все больший авторитет.

В Совет стали обращаться не только с жалобами на действия администрации, но с вопросами или жалобами на бытовые явления, а очень часто с делами, носившими судебный характер.

Особенно характерным было то, что женщины почувствовали в лице Совета свою защиту. Нам много пришлось разбирать жалоб женщин на варварское обращение мужей с ними. И надо сказать, что воздействие Совета на мужей-любителей бить своих жен — имело положительные результаты, и многие под влиянием Совета совершенно прекратили избиения.

Женщины, в свою очередь, старались выразить нам свою благодарность. Во время неоднократных обысков нас всегда выручали женщины. Из-под носа полиции они очищали наши квартиры от запрещенных книг, газет и прокламаций.

Когда меня арестовали 4 февраля 1908 года, то несмотря на поздний вечер, вся улица оказалась запруженной народом, большей частью женщинами. Многие из них плакали навзрыд от горя, что меня увозят, и открыто ругали полицию.

При защите женщин-рудобоек на домне от ночного произвола мастеров и помощника смотрителя завода Василевского мы довели дело до стачки и потребовали не только немедленного увольнения его с работы, но выезда из завода, несмотря на то, что он имел собственный дом. Приходя пьяный ночью в свою конторку, он требовал к себе какую ему вздумается работницу, и несчастные женщины должны были идти и выполнять его гнусные прихоти. Отказаться, разумеется, значило тотчас же потерять работу.

Когда мы добились увольнения Василевского, то не только женщины, но и рабочие с облегчением вздохнули.

Совету часто приходилось заниматься вопросами судебного порядка, разбирая конфликты между жителями, например, по расчетам кулаков-коновозчиков с батраками, или по найму на рубку дров.

Один раз Совету пришлось вмешаться в обмен лошадьми между коновозчиками.

Кулаки напоили мертвецки пьяным бедняка, имевшего одну лошадь, а когда он проснулся утром в доме кулака, то ему заявили:

— Ты, Василий, вчера сменял свою лошадь и в придачу взял четверть водки. Забирай свою меновую и катись от нас домой.

Смотрит с похмелья Василий и ничего не понимает. Вместо молодой, здоровой лошади ему выводят со двора старую клячу.

Бедняк обратился с жалобой в волостное правление, но получил ответ:

— Что ж, Василий, мена—дело полюбовное, мы не можем вмешиваться в эти дела. Как менял, так и разменивайся!

Взвыл от горя мужик.

Кто-то ему посоветовал сходить к депутатам, может быть, они помогут возвратить лошадь.

Мы ему, действительно, в тот же день «вызволили» от кулаков лошадь. Никакого суда мы над кулаками не устраивали, обошлись проще; взяли бедняка с клячей, вчетвером отправились к кулакам в дом часов в десять вечера и потребовали обратно лошадь, угрожая в случае отказа жестокой расправой. Просвирнин для большей убедительности как бы нечаянно показал из кармана свой не стрелявший «бульдог».

Кулаки трусили, пытались убедить нас, что лошадь они выменяли добровольно и если Василий считает, что мало получил «придачи», то они могут сейчас же поставить ведро водки. Однако видя, что водкой не соблазнишь нас, кулаки вынуждены были вернуть лошадь.

За нашу защиту батраков кулаки в ноябре 1906 года хотели убить меня с Петром Костаревым. Они подговорили человек пятнадцать здоровеннейших коновозчиков и поздней ночью окружили нас в темном переулке. Нам удалось ускользнуть через заводскую проходную в завод, где мы сообщили доменным рабочим о покушении.

Семь рабочих, вооруженных кто ломом, что куском железа, пошли на кулаков. Но последние уже скрылись.

Возмущение рабочих было настолько сильным, что кулаки трусили и один за другим стали приходить к нам с объяснениями:

— Вы, ребята, не подумайте обо мне худого. Я ведь тоже за свободу. А что мы за вами бежали, так это просто так.

Мы понимали, конечно, что покушение на нас было попыткой черносотенных элементов разгромить «крамольников». Организаторами и вдохновителями были: поп, лавочник и некоторые из стариков-служащих.

Убедившись, что в Бисере сочувствие населения не на стороне самодержавия, а на стороне «политиков», они больше не пытались устраивать черносотенные погромы.

С усилением в стране реакции и ликвидацией Советов наш Бисерский Совет должен был тоже сойти со сцены. Но депутаты, как представители рабочих, просуществовали до января 1908 года.

Расправа царского правительства с революционным движением окрылила и нашу администрацию. Она начала поход за уничтожение добытых осенью 1905 года завоеваний — повышение зарплаты и улучшение условий труда.

Чтобы подавить сопротивление рабочих, администрация стала закрывать капитальные шахты и переводить рабочих на старательские работы. К осени 1907 года в действии осталась одна небольшая шахтенка с 50 рабочими. Остальные рабочие вынуждены были пойти работать старателями.

Такой маневр был рассчитан на то, что разрозненные на мелкие группы рабочие не в состоянии будут оказывать какого-либо коллективного сопротивления, занятые лишь интересами своего шурфа.

Небольшой коллектив рабочих, оставшихся на шахтенке, они терроризировали угрозами закрыть и последнюю шахту.

Но тактика администрации не имела полного успеха: рабочие были уже не те, что в 80-х и в начале 90-х годов.

Хотя рабочие были раскиданы по разным рудникам, они были тесно объединены партийной организацией. Многие члены ее работали в старательских артелях и вели агитационную и организационную работу.

В ноябре 1907 года вспыхнула стачка среди старателей.

Поводом для стачки послужил отказ администрации платить старателям за разведку руды, а также отказ производить периодические проверки состояния измерительных рулеток.

Когда по требованию рабочих явился для объяснений горный инженер и управитель завода Дьяконов, то рабочие поручили мне, как депутату, вести с ним разговор.

— Теперь нет никаких депутатов,— заявил он,— а какие были, те давно уже в тюрьме сидят или в Сибирь угнаны.

Рабочие зашумели в ответ. И Дьяконову, окруженному со всех сторон возбужденными рабочими, пришлось, хоть и с кислой миной, побеседовать со мной.

Я изложил ему требования рабочих и потребовал немедленного удовлетворения.

Дьяконов, убедившись в нашем единстве, вынужден был восстановить оплату за разведки и дал распоряжение проверить с участием рабочих правильность рулеток.

Месяца через два возник новый конфликт между рабочими и администрацией. В половине января 1908 года на руднике было уволено трое забойщиков. Двое из них состояли членами партийной организации, а третий был отец Петра Костарева.

Распоряжение об увольнении этих рабочих явилось ответом на наше требование убрать с рудника двоих рабочих, соглашавшихся работать сверхурочно вопреки общему решению рабочих.

Я, Просвирнин и Вялых явились в контору завода к управителю Дьяконову и заявили самый решительный протест против нарушения принятых в ноябре 1905 года наших условий, по которым ни один рабочий не мог быть принят или уволен без согласия рабочих организаций.

Управитель было заупрямился, но находившиеся в конторе рабочие нас энергично поддержали, и он был вынужден удовлетворить наши требования.

Это был последний случай использования нами прав депутатов.

Через две недели я и Вялых были арестованы и направлены в Пермскую тюрьму, а вместе с нами на целых десять лет ушло из Бисера слово «депутат», как олицетворение советской рабочей власти. Лишь в 1917 году оно вновь появилось на устах всех рабочих и мне пришлось быть уже не просто депутатом, а председателем Совета Рабочих Депутатов Бисерского завода.

Наша группа до апреля 1906 года находилась на положении «дикий» (т. е. не была связана ни с каким комитетом РСДРП(б)). Это очень затрудняло нашу работу, тем более, что среди нас не было ни одного интеллигента, который бы помог разобраться в случайно попадавшей к нам политической литературе.

Разъясняя рабочим статьи из газет, листовки или прокламации, мы большей частью руководствовались рабочим инстинктом.

Но этого было явно недостаточно. Рабочие задавали нам такие вопросы, по которым мы ясно чувствовали, что наш идейный и теоретический уровень недостаточен, чтобы удовлетворить их политические запросы.

Но все наши попытки найти таинственный Пермский комитет партии не приводили ни к чему.

Чтобы найти комитет, мы использовали путь, противоречивший тактике партии: приняли участие в выборах в первую государственную Думу.

Мы долго колебались и размышляли, тем более, что сами же мы вели агитацию против Булыгинской Думы и ратовали за Учредительное собрание.

Но необходимость во что бы то ни стало связаться с комитетом заставила нас провести выборщиком в Думу члена нашей группы — забойщика Александра Кузнецова.

Сочувствовавший нам волостной писарь Кокшаров дал нам адрес одного своего знакомого в Перми, некоего Каменева, служащего железнодорожного общества потребителей. По его мнению, этот Каменев мог помочь нам разыскать Пермский комитет.

И действительно, с помощью этого служащего Кузнецов разыскал в Перми комитет.

Однако он так много времени потратил на связь с комитетом и хождение по явкам, а также на получение литературы, что у него не оказалось возможности ни разу попасть на собрание выборщиков, о чем ни он, ни мы несколько не сожалели.

От знакомства с Пермским комитетом Кузнецов был в восторге:

— Вот где, ребята, находится наша рабочая правда, — говорил он. — Вот кто нам раскроет глаза, какой нам дорогой идти.

Особенно мы остались довольны указаниями комитета — что нам нужно делать, а также и тем, что нашу группу «зарегистрировали».

В мае 1906 года к нам приехал представитель комитета — Миша Туркин, 18-летний юноша.

Правда, он не был ни агитатором, ни пропагандистом, но все же он навел у нас организационный порядок. Прежде всего он познакомил нас с организационным строением партии, рассказал, как строить руководство партийной группой, как вести финансовую отчетность и отчитываться в денежных средствах, дал нам рецепт устройства гектографа.

До приезда Туркина у нас никакой выборности не существовало, и мы трое, первые организаторы — Костарев, Просвирнин и я, руководили и заправляли всей работой, без всякой демократии. Члены группы называли нас не комитетчиками, а «лидерами». Словечко это было взято из газет.

При помощи Туркина на собрании группы, по всем правилам демократии, был избран комитет. В него вошла все та же тройка, но после выборов, нас уже перестали называть «лидерами», а называли комитетчиками!

С Кузнецовым, когда он поехал в Пермь, мы отправили все свои партийные суммы для закупки литературы.

Кроме партийных газет, листовок и прокламаций, он привез больше ста различных книг и брошюр. Впервые в наши руки попали сочинения тогда таинственного для нас К. Маркса: «Нищета философии», «Гражданская война во Франции», «18 Брюмера Луи Бонапарта».

Так как все от нас слышалось, что у Маркса можно получить ответ на все вопросы, то каждый стал требовать себе его сочинения.

Но тут случилось то, чего мы не ожидали.

Помню, взял «Нищету философии» пожилой забойщик Игнатий Ощепков.

— Ну, теперь,— сказал он,— я все узнаю о нашей жизни. Наверное, тут Маркс все написал о нашей нищете.

Через два дня приходит обратно с книгой разочарованный и говорит:

— Нет, товарищи, очень мудреный человек был Маркс. Без образования его не прочитаешь. Дайте уж мне какую попроще книжку.

Другой рабочий взял «Общество будущего» Бебеля. Хотя этот человек читал кое-что из художественной литературы, но и он, однако, мало понял.

Видим, дело плохо, если так пойдет дальше, то рабочие не станут читать политическую литературу. Решили, прежде всего просмотреть все книги сами,— что одолеем, то и будем давать читателям.

За это дело взялись мы с Костаревым. Просмотреть более ста брошюр и книг оказалось для нас, с нашей политической подготовкой, очень не легко. Целыми ночами просиживали мы за просмотром книг. От усиленного мозгового напряжения начались у нас сильнейшие головные боли.

Все же в конце концов мы справились с этой литературой, составили конспект по чтению не только для членов группы, но и для беспартийных рабочих.

Подбору литературы мы придавали очень большое значение и все партийные средства расходовали на книги и брошюры. К концу 1907 года в нашей подпольной библиотеке имелось свыше 500 экземпляров книг и брошюр. Кроме политической литературы, была и беллетристика: рассказы М. Горького, Леонида Андреева, Короленко, Скитальца и других писателей. Были также научные книги по истории.

Знакомство с литературой давало нам возможность более или менее удачно отвечать на вопросы рабочих.

Помню со мной был такой случай: в августе 1906 года шел я с рудников, с работы. Дорогой меня остановили рабочие, среди которых было несколько человек членов группы.



В большинстве это были пожилые люди. Мы сели на край дороги, около елей. Мне задали вопрос:

— Расскажи нам, что такое социализм, кто при нем будет управлять государством? Как мы будем работать, кто будет управлять заводами? Как будем получать заработную плату?

Задача была не из легких. Я держал экзамен перед рабочими. Можно себе представить мое положение — человека, не знавшего ни учения Маркса, Энгельса и Ленина о государстве, о социализме и коммунизме, ни политической экономии. Мой теоретический багаж составляли тогда знания, почерпнутые из книг А. Баха «Царь-голод», Дикштейна «Кто чем живет», Струмилина «Богатство и труд», Бебеля «Общество будущего», Каутского «На другой день социальной революции».

Мои ответы, к моему искреннему удивлению, удовлетворили рабочих. Только один старик со вздохом сказал:

— Эх, ребята, вот только не дожить мне до этого. А славно было бы пожить без начальства, сами себе хозяева!

Мы очень беспечно относились к хранению литературы, всегда у нас на столах лежали «запрещенные» книги, но нас выручали женщины-соседки. Чуть слышат звон колокольчиков земской лошади, смотрят, не ведет ли ямщик «шкуру» какую-нибудь со станции («шкурами» у нас называли жандармов и полицию).

Если заметят, что едет пристав или жандармы, сейчас же бегут по нашим квартирам и забирают все, что имеется печатного в квартире. Наберут книг в подолы своих юбок и тащат прятать у себя во дворе, или для большей безопасности бегут еще дальше, к какой-нибудь знакомой «сватье».

— На, сватья, спрячь куда-нибудь подальше. Шкуры приехали, а варнак наш опять все на столе оставил, а сам робить ушел.

После обысков мы обычно получали от женщин головомойку:

— Дьяволы, варнаки, чего вам, в тюрьму захотелось что ли? Бегай тут за вас, чертей, с загнутыми подолами по улице.

Может показаться немного странным, что женщины открыто утаскивали от нас перед обысками литературу, и жандармы об этом не узнавали.

Объяснялось это тем, что у нас в заводе не было добровольцев-доносчиков, и те женщины, которые прятали литературу, старались попасть в «понятые» при обысках.

Сделав безрезультатный обыск, пристав старался выпытать «понятых»:

— Вы, тетки, наверное, знаете, какие книжки читает ваш сосед и где он их держит? Да вашим мужикам, поди, дает.

Наши «понятые» с самым наивным видом уверяли пристава:

— Вот на месте провалиться, ваше благородие, никогда в руках у него книжек не видала. Да когда ему, варнаку, с книжками забавляться? Чуть только с работы придет, пожрет и с девками шарамыжничать бежит. А моему мужику некогда книжки читать, — и без книжки дела много.

С 1905 по 1917 год жандармерия смогла завербовать у нас всего двух «информаторов»: местного лавочника Оралкина и машиниста воздуходувной машины Фомина.

При одном из обысков у меня взяли черносотенную брошюру с моими комментариями на полях страниц. Рядом лежала агитационная брошюрка к солдатам: «За веру, царя и отечество» Воинова (Луначарского). Пристав, повертев ее в руках, положил обратно на стол со словами: «Полезная книжка». Его удовлетворило заглавие брошюрки, а содержанием ее он не поинтересовался.

Переписку с Пермским комитетом, шифр и гектограф мы хранили очень крепко. Первое время то и другое я держал у себя, затем «техником» мы назначили Просвирнина, ему я и передал гектограф.

Первый гектограф поручили сделать мне. У меня однако

не вышел он сразу. Приготовив массу по рецепту, оставленному нам Туркиным, и разлив ее в форму из толстой бумаги, я почему-то вообразил, что гектограф нужно просушить на печке.

Поставил его на горячую русскую печку, а сам отправился к товарищам сообщить, что гектограф готов и вечером можно будет печатать прокламацию. Каково же было наше удивление, когда вместо гектографа мы увидели вечером одну лишь бумажную форму, вся масса разошлась по печи.

— Эх,— говорю,— ребята, нужно было видно, не на печку ставить, а в погреб.

Решили делать снова, но оказалось, что привезенный из Перми глицерин я весь израсходовал. Что делать? Ехать в Пермь далеко, да и не столь просто.

Вспомнили, что один из членов нашей группы Егор Махнутин гулял с сиделкой больницы. Позвали его:

— Лети скорей, Егорка, к Насте. Пусть как хочет, а нальет в аптеке бутылку глицерина.

Часов в одиннадцать ночи наш Махнутин притащил глицерин.

Ночью сделали второй гектограф и снесли его в погреб. Гектограф у нас получился удачный и давал больше ста очень отчетливых оттисков.

Для хранения его я придумал очень оригинальное место.

Перед крыльцом лежал обрезок доски метра полтора длины и сантиметров шести толщины.

Я расколол его на две части и выдолбил в середине углубление, соответствующее размеру гектографа. Так как доска была суковатая, то она хорошо складывалась, а сучки скрепляли ее как специальные штифты. После печатания я прятал гектограф в доску, по ней ходили люди, и никто ни о чем не догадывался. Даже во время обыска по ней бегали полицейские, тщетно разыскивая нашу «типографию».

Во время последнего обыска 4 февраля 1908 года, когда меня с Вялых арестовали, гектограф хранился у Просвирина.

Он дня за три перед обыском печатал очередной партийный кассовый отчет и по халатности оставил его в квартире в посудном шкафу и чуть не влопался с ним.

Об обысках мы узнали, находясь на руднике, от специально приехавшего верхом члена нашей группы. Просвирнин прибежал домой и нашел у себя на квартире стражника. Но Просвирнин не растерялся, подошел к шкафу, свернул трубкой гектограф и, засунув в карман брюк, сказал стражнику:

— Я пошел до ветру.

При этом он так на него взглянул, что стражник от страха ни слова ему не ответил. Едва Просвирнин успел спрятать гектограф, как ввалился пристав с целой оравой стражников.

Произведя тщательный обыск и не найдя ничего, пристав сказал Просвирнину:

— Ты, наверное, успел уж все спрятать, пока я возился у Ермакова с Вялых.

Последний ему в ответ:

— Ну как я мог спрятать что-нибудь, когда твой фараон с утра сидит у меня в квартире.

Пристав от злости закричал на Просвирнина:

— Какое ты имеешь право так называть царского слугу!

— Как все их называют, так и я называл.

Пристав, еще больше разгорячась, затопал ногами:

— Это только внутренние враги так оскорбляют верных царскому престолу людей.

Но все же на этот раз Просвирнина он не арестовал.

Наличие гектографа в нашей группе придавало нам большой вес в глазах населения, так как наш несложный множительный аппарат считали машиной.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Организационно оформив нашу группу, мы в июле 1906 года получили извещение от Пермского комитета о созыве Окружной партийной конференции. Делегатом от группы выбрали меня.

Проездных и командировочных мы не знали, да это нас и не особенно интересовало. Одно сознание, что едешь на партийную конференцию и будешь вместе с комитетом обсуждать политические вопросы, наполняло сознание не только гордостью, но и горячим желанием запомнить все, что услышишь [на конференции, чтобы потом передать товарищам.

В то же время мозг сверлила мысль, как проехать, чтобы не попасть в руки жандармов, а если попадешь, то сумеешь ли выдержать все испытания достойно революционера?

С таким настроением в одно прекрасное июньское утро я вышел в четыре часа из дому без всякого багажа, одетый в легкие сапоги и пиджачок, без всяких документов, держа в памяти пароль для явки в Перми, вопросы для передачи комитету от нашей группы и данные о нашей работе.

Я пешочком отмахал 12 верст до станции.

В поезд я попал без жандармских расспросов, но все же они успели заметить и проводить многозначительными взглядами.

До Перми я доехал благополучно и устроился на ночлег на постоялом дворе. Утром следующего дня я пришел на первую явку. Явка была дана к кассирше самого лучшего галантерейного магазина Перми — «бр. Агафуровых», находившегося на одной из центральных улиц.

Зайдя в магазин, я увидел несколько человек в военных шинелях и так как я в то время не разбирался в формах и не отличал офицера от пристава, то подумал сначала, что в магазине обыск.

Присмотревшись, я заметил, что и военные и штатские что-то покупают. К кассе все время подходили покупатели, и я не имел возможности передать кассирше пароль — «привет от серого медведя». В то же время назойливые приказчики не отставали от меня с предложениями покупок.

Чтобы выйти из неловкого положения, я решил купить за 10 коп. гребешок, подошел к кассе, передал деньги и при этом сказал тихим шопотом пароль. Кассирша мне дала сле-

дующую явку к зубному врачу, на углу бывшей Екатерининской и Оханской улиц.

Там меня встретила молоденькая и чисто одетая горничная и попросила сесть — подождать врача.

Вскоре пришел врач вместе с горничной, достал из шкафа клещи и сказал:

— Ну, раскрывайте рот и покажите, какой у вас болит зуб?

Мне стало жаль выдергивать здоровый зуб, и я сказал, что зубы у меня не болят, но мне нужно передать ему наедине несколько слов. Посмотрев на меня и убедившись по налету рудной пыли на моей одежде, что я не городской житель, он предложил, не стесняясь, говорить при горничной.

Я передал пароль. Тогда горничная позвала меня в комнату, помещавшуюся рядом с кабинетом и предложила мне сесть в мягкое кресло. Привыкнув садиться на нары и скамейки, я так «бухнул» в кресло, что мои ноги описали в воздухе дугу.

«Эх,— думаю,— не только политику нужно изучать, но надо учиться, как обращаться с барской мебелью».

Получив новую явку, я отправился к Сибирской заставе, где в одном из маленьких домиков возле завода пожарных машин Кузовникова должна была собраться Окружная партийная конференция.

Подходя к указанной квартире, я заметил идущего по противоположной стороне человека в очках, подозрительно поглядывавшего на меня. Я уже кое-что слышал о том, как надо держать себя при слезке шпиков. Руководясь этим, я с равнодушным видом прошел мимо заводика, а за тем перейдя на другую сторону, повернул обратно к входу в городской сад, где сел на лавочку возле человека, читавшего газету.

Каково же было мое удивление, когда сосед оказался тем же человеком в очках.

— Вы, товарищ, вероятно приезжий? — спросил он, оглядев меня с ног до головы.

— Да приезжий,— осторожно ответил я.

— Откуда?

— С железных рудников. А вы, кажется, тоже приезжий?

Последовал утвердительный ответ.

— А из каких будете мест?

— Из Чусовой, учитель.

— А я,— говорю,— из Бисера.

Тогда он улыбнулся и сказал:

— Слушайте, товарищ, а мы ведь в одно место шли, да, видать, один другого испугались. Теперь я вижу, вы не шпик, пойдемте вместе. Вы, наверное, приехали на конференцию, как делегат, а я от Чусовой, тоже делегат.

Я все-таки спросил у него пароль и, получив удовлетворительный ответ, вместе с ним направился на условленную явку.

Там уже собралось человек около десяти.

Посоветовавшись, решили перенести конференцию из квартиры в лес, около так называемой «Базановской заимки» по Сибирскому тракту.

Чтоб не вызвать подозрения, выходили через небольшие промежутки времени по два человека.

Всего на конференцию собралось человек пятнадцать.

Из вопросов, обсуждавшихся на конференции, я запомнил следующие; о разгоне Государственной Думы и нашей дальнейшей тактике к следующим выборам, о поведении меньшевиков и их работе в Окружном комитете, об агитации и организации групп на заводах, где они отсутствуют.

От имени своей группы я сделал небольшую информацию а также заявил, что мы берем на себя организацию группы и установление связи с близлежащими около нас заводами и платиновыми приисками (это обязательство было нами выполнено).

Конференция продолжалась не больше трех часов, а затем мы перешли на происходившую недалеко от нас массовку и разошлись вместе с ее участниками в город небольшими партиями.

На следующий день мне пришлось еще остаться для покупки книг, получения очередной партии нелегальных газет, прокламаций, листовок, закупки глицерина, желатина, гектографических чернил и бумаги для печатания.

Нагрузив до отказа купленную мною специально для этой цели плетеную корзинку, я направился на вокзал.

На перроне сидела группа демобилизованных солдат. Узнав, что они мои попутчики, я поручил им свою корзинку, а сам пошел купить билет.

Во время разговора с солдатами, около нас вертелись два каких-то подозрительных типа: один из них был в синих очках.

«Ну, думаю, раз появились «синие очки», дело табак. Жаль не себя, а корзинку с содержимым. Попадет она в руки жандармов, и если я сам даже уцелею, то от стыда нельзя будет домой показаться. Эх, скажут, ворона, пустяка не смог сделать и влопался»,

Надо было как-то выкручиваться.

Выждав момент, когда шпики отошли от нас, я сказал, что мне нужно выйти к входу вокзала — встретить знакомую барышню, и попросил одного солдата взять собой в вагон мою корзинку.

Раздался звонок. Солдаты со своими сундучками и моей корзинкой зашли в вагон. А я забежал в привокзальную лавочку, купил на последние деньги полбуханки серого хлеба да четыре копченые воблы и, пользуясь суетой, вскочил в вагон. Там без труда разыскал знакомых солдат и сунул им хлеб и воблу со словами:

— Нате ешьте, ребята, да поглядывайте за моей корзинкой. А я пойду к знакомым в другой вагон.

Обрадованные солдаты обещали беречь корзинку.

После этого я перешел в другой вагон: смотрю, оба шпики тоже едут. Я как ни в чем не бывало спокойно уселся на одну из лавочек и, чтобы показать, что у меня ничего нет, распахнул полы своего пиджака: «Нате, смотрите, весь на виду».



Перед отходом поезда в вагон второго класса вошел становой пристав, который производил у меня обыск недели три перед моей поездкой. Я понял, что разговор с ним неизбежен. Значит, высаживаться на станции с корзинкой мне никаким образом нельзя. Возможно, шпики уже предупредили о моем приезде нашу станцию и меня там уже ждут жандармы.

Пришлось опять прибегнуть к помощи солдат. Я попросил их вынести мою корзинку на станцию Бисер и передать земскому ямщику с тем, чтобы последний вручил ее в заводе Костареву. Я сказал им, что в корзинке лежат книги, выданные земством для школы, и для большей убедительности даже раскрыл перед ними корзинку. Солдаты уверили меня, что выполнят мою просьбу.

Когда поезд остановился на нашей станции, я моментально выскочил на противоположную сторону, к паровозному депо, прошел к концу станции и затем, свернув в сторону, направился к себе в завод.

Пройдя километров пять, я услышал позади звон колокольчиков земской лошади. Скоро я услышал окрик станового:

— Стой!

Лошадь остановилась, поровнявшись со мной.

— Ты куда, Ермаков, идешь? — спросил меня пристав.

— Со станции.

— Зачем ходил?

— Да поискать работы.

— А почему в руднике не хочешь работать?

— Надоело, — говорю, — в шахте чертомелить.

Осмотрев меня внимательно, он поехал дальше. К задку его тележки была привязана ямщиком моя корзинка, завернутая в мешок из-под овса.

Едва я успел придти домой, как ко мне пожаловал пристав. Не получив ничего от обыска, он с разочарованием сказал:

— Ну, ты, наверное, успел все спрятать.

Когда пристав уехал обратно, мы с Костаревым часов в десять вечера вместе сходили к ямщику за корзинкой.

Вскоре нам удалось на станции установить связи с организованной там партийной группой, состоявшей из девяти человек, и через их посредство наладить другую, более удобную транспортировку литературы. Из Перми привозила ее паровозная бригада, затем передавала конторщику, последний направлял в пакгауз, а здесь ее получал мой старший брат Александр, который доставлял товары для общества потребителей.

Связь с железнодорожной группой оказала нам очень большую помощь. Через нее, как уже сказано, значительно облегчалась доставка литературы; через телеграфиста Михаила Дядькина мы получали информацию о содержании телеграмм, посылаемых из Пермского жандармского управления и из Чусовой от станового пристава.

С января 1906 года полиция была усилена: вместо одного урядника стало двое и в помощь им по борьбе с «крамоллой» было дано пять стражников.

Словом, на трехтысячное население нашего завода было поставлено для охраны незыблемых основ существующего строя семь «полицейских чинов».

Естественно, для нас это являлось значительным затруднением в нашей работе.

Особенно трудно нам бывало организовать безопасность приезда и отъезда посещавших нас членов Пермского комитета. А за период с конца мая 1906 года по октябрь 1907 года к нам приезжало около 10 человек членов комитета.

В нашем небольшом селении не только приезд нового человека, но даже появление у какого-нибудь местного охотника новой собаки и то являлось событием. Жители настолько хорошо знали друг друга, что темной ночью по походе узнавали, кто идет.

Если у нас не «провалился» ни один из приезжавших членов комитета, то это только лишний раз подтверждало, что добровольцев-шпионов среди населения не находилось.

Иногда полицейские получали по телеграфу из Перми сообщение о готовящемся приезде к нам «агитатора», но сколько ни старались они изловить его — все тщетно.

В этом деле большую роль играла станционная группа, сообщавшая нам содержание жандармских телеграмм. А Дядькин, принимая эти телеграммы, старался так исказить текст, чтобы урядники не могли разобрать содержание. Пока они запрашивали разъяснение, агитатор успевал провести у нас собрание и отбыть обратно.

Не всегда, конечно, проходило так благополучно.

Приезд к нам Артема (Сергеева), председателя Пермского комитета совпал с неблагоприятной для нас обстановкой: об его приезде из Перми были предупреждены не только урядники завода, но и станционные жандармы. Произошло это вследствие того, что телеграмму получил не Дядькин, а другой телеграфист, не сочувствовавший революционному движению.

Получив телеграмму, он сразу передал ее дежурному жандарму.

К приходу поезда оба жандарма приготовились встретить агитатора и по телефону предупредили бисерских урядников.

Артем не попал на станции в руки жандармов совершенно случайно. Выйдя из вагона, он направился не в сторону пассажирского зала, а к фельдшерскому приемному пункту и оттуда в рудовозных санях уехал в завод.

Дорогой он узнал от коновозчика, кто у нас «ходит в политики».

Позже он, смеясь, говорил нам:

— Ну и плохая же у вас конспирация. Пока я ехал с мужичком, он мне почти всех политиков указал, какие у вас в заводе есть. Хвалил он их — хорошие ребята; за рабочего человека горой стоят.

Коновозчик, оказывается, успокаивал Артема, что если он едет к «политикам», то он его так провезет по заводу, что ни одна «шкура» не заметит.

Обратно на станцию повез Артема я сам, взяв для этого у брата одну лошадь.

Когда мы отъехали четыре километра от завода, я заметил впереди двух урядников, едущих с земским ямщиком.

Дорога одна — деваться некуда. Завернуть обратно, значит, вызвать подозрение у урядников. Поехали дальше, держась от урядника позади на полкилометра.

Около вокзала нас поджидали уже урядники. Артем незаметно вылез и направился в квартиру сторожа вокзала Лызова, члена партийной группы. А я, как ни в чем не бывало, подъехал к станции.

— Не видал ли, Ермаков, ридикульчика на дороге, оброненного нами? — спросил меня один из урядников.

— Нет, говорю, не видал.

— А кто это с вами ехал?

— Да какой-то со станции — не то из службы пути, не то из службы движения. Попросился ко мне, чтоб я его доvez до станции, я посадил — все равно ведь я пустой ехал.

Спросили меня еще о причине приезда на станцию.

— За матерью, — сказал я, — обещалась в гости приехать.

Привязав лошадь к коновязи, я с невинным видом пошел на вокзал. Увидев, что они направились в дежурную комнату жандармов, я зашел к конторщику товарной конторы, члену партии, и попросил его приобрести железнодорожный билет Артему, а затем незаметно посадить его в вагон. Он обещал. Артем благополучно сел в вагон.

Приезжавшие члены Пермского комитета очень много помогали нам в повышении нашего политического уровня. Особенно много нам дал Артем.

Он провел у нас три дня; во время которых мы буквально не давали ему покоя своими вопросами на различные политические темы. О чем только мы его ни спрашивали. Он терпеливо отвечал и разъяснял все наши недоумения.

Спрашивали мы его — почему партия разделилась на две фракции, к какой фракции принадлежит Плеханов; почему он против вооруженного восстания; что из себя представляют кадеты?

Нужно сказать, что до Артема у нас было ложное представление о кадетах. Читая в газетах их выступления в Государственной Думе против царских министров, мы полагали, что они тоже стоят за свободу, хотя и не за полную.

Артем очень подробно растолковал нам кадетскую политику — политику волков в овечьей шкуре. Мы узнали что Милюковы, Родичевы, Кизеветтеры, Гессены, с одной стороны, и Пуришкевичи, Валяй-Марковы, Дубровины, Шульгины, с другой, ссорятся только из-за того, кто из них лучше сумеет подавить революционное движение рабочих, чтоб дальше еще свирепее эксплуатировать рабочие массы.

Несмотря на зимнее время, нам удалось провести с участием Артема два партийных собрания, на которых он нам сделал доклады: о предвыборной кампании во Вторую Государственную Думу, о текущих задачах партийной работы.

От Артема мы узнали о великой роли Владимира Ильича Ленина в деле организации рабочего движения. Он сумел в кратких словах дать образ великого вождя большевиков.

Мы и до этого считали себя большевиками, но у нас были очень смутные представления о том, кто руководит нашей партией. После бесед с Артемом при выборах на Стокгольмский съезд мы свои 35 голосов отдали уже вполне сознательно за делегата большевика «Зеленого», а во время выборов на Лондонский съезд заявили приезжавшему представителю Пермского комитета, что мы отдаем свои голоса только за большевика, и если узнаем, что нас обманули, то заявим протест и потребуем отвода делегата.

Одновременно мы потребовали, чтобы делегат приехал к нам после съезда с докладом. Наше требование Пермским комитетом было удовлетворено летом 1907 года.

Мы заслушали доклад о Лондонском съезде, сделанный делегатом съезда Алексеем (фамилии не помню). Получили от него хорошую информацию о борьбе с меньшевиками и об их предательской роли в деле раскола единства рабочего движения. Он же познакомил нас с учением Маркса, прочитав нам два реферата о политической экономии и классовой борьбе.

Доклады Артема и других приезжавших членов Пермского комитета и два прочитанных Алексеем реферата были нашей единственной школой по освоению революционной теории. В остальном нам приходилось вооружаться теорией для практической работы исключительно самостоятельным путем, черпая знания из книг и брошюр нашей библиотеки.

Агитируя и пропагандируя социал-демократическое учение в своем Бисере, мы уже поминали, что как бы высоко мы ни подняли классовое самосознание рабочих в одном местечке, это будет лишь маленькой песчинкой, которая не в состоянии что-либо изменить в существовавшем правопорядке. Мы пришли к выводу, что надо вести революционную пропаганду на соседних заводах и предприятиях.

В конце 1906 года на одном из заседаний мы решили для организации подпольных групп поехать по заводам: Костарев выбрал Верхне-Исовские прииски, Просвирнин и Вялых — Пашийский завод, а я — Теплогорский завод, Горевознесенский рудник и поселок Северный около станции «Европейская».

В Пашийском заводе Просвирнин и Вялых встретились с противодействием, организованным там эсеровской группой под руководством местного столяра Константина Лабутина.

Вялых удалось было сагитировать четырех рабочих вступить с социал-демократическую организацию, но они поставили условием — получение согласия Кости Лабутина. Когда пришли к Лабутину, тот заявил:

— Вы, бисеряне, не пускаете к себе в завод эсеров, поэтому я запрещаю появляться в Пашии социал-демократам.

После такого заявления Лабутина, пользовавшегося в то время среди пашийских рабочих большим авторитетом, сагитированные Вялых рабочие отказались вступать в социал-демократическую партию:

— Раз Костя против, значит нельзя. Ты, Ваня, не сердись, мы хоть будем в разных партиях, но вместе будем бить царя и капиталистов. Когда побьем их, тогда увидим, по-вашему или по-нашему жизнь надо будет устраивать.

Так Вялых и уехал ни с чем.

Просвирнину удалось двоих сагитировать, но они поставили условием не говорить об этом Лабутину<sup>1</sup>.

Костарева также постигла неудача, о причинах которой я говорил ранее. Мне больше повезло: в Теплогорском заводе удалось с помощью одного бисерского рабочего Ивана Воробьева создать небольшую группу, провести собрание.

На Горе-Вознесенском руднике мне тоже удалось произвести собрание среди сочувствующих, после чего была организована группа, которой впоследствии руководил бывший волостной писарь Промысловской волости Николай Блинов и горный десятник Ушаков.

В поселке Северном, кроме бесед с молодежью и некоторыми пожилыми рабочими, ничего сделать не пришлось. Правда, и сам поселок ничего из себя не представлял в промышленном отношении.

Это был когда-то богатый приисковый уголок Урала, потом за истощением золотых россыпей он превратился в захудалое местечко, находившееся в полной власти Кутина, торговца и подрядчика, державшего крепко в своих хищных руках все население.

Кутин был характерный представитель пореформенного типа уральских кулаков-хищников. Появился он в этих

---

<sup>1</sup> Лишь в конце 1917 года авторитет Лабутина был сведен на-нет организовавшейся в Пашийском заводе большевистской группой, да и сам Лабугин себя дискредитировал перед рабочими, как ярый защитник временного правительства.

краях во время постройки в 1877—1878 годах Уральской Горнозаводской железной дороги.

Свою карьеру он начал землекопом.

Его жена и мать пекли для рабочих хлеб, причем система «пуд за пуд» (т. е. пуд хлеба за пуд муки) была тогда законом на всех предприятиях Урала.

Через полгода Кутин занялся мелкими подрядами и поставками для постройки железной дороги. К концу он уже начал ворочать тысячами.

Инженеры-строители нашли в нем «своего человека», через которого можно было делать дела.

В поселке Северном Кутин вместе с подрядами развернул торговлю и скупку золота. После окончания постройки железной дороги он быстро нашел поприще для новых приобретений: приступил к уничтожению лесов.

К 1900 году на большом радиусе вокруг поселка Северного все леса по западному склону Урала и отходящим от него хребтам были Кутиным вырублены.

Для того, чтобы подешевле купить лес, который он пережигал на уголь и продавал Невьянским заводам, он прибегал к очень своеобразному способу: каждый год он нанимал рублей за пять какого-нибудь северянского мужика для поджога намеченного лесного участка, после чего за бесценок покупал его у Шуваловского лесничества, как мертвый лес.

Конечно, шуваловские лесничие прекрасно знали, отчего каждый год горят у них лесные дачи, но Кутину они не мешали, так как он им платил.

Плошло больше пятидесяти лет после хозяйничания Кутина в районе станций: «Европейская», «Усть-Тискос» и разъезда «Евразия». Но и сейчас еще видны следы его: вместо былых могучих еловых и кедровых лесов растут там жалкие березовые рощи.

Северянские мужики находились в неоплатном долгу у Кутина. Боясь, что он сживет их со свету, они не решались даже на малый протест. Моя пропаганда здесь не имела успеха.



В эту поездку мне удалось установить связь с Кузье-Александровским заводом, где был уже кружок, руководимый машинистом воздуходувной машины.

В 1907 году в связи с усилением реакции Пермский окружной комитет вынес решение организовать в Чусовском заводе районное бюро для руководства восточной частью Пермского уезда.

В своем письме Пермский комитет предложил нам созвать районную конференцию в Чусовой. В половине октября мы с Костаревым были делегированы от нашей группы на эту конференцию.

Приехав к назначенному дню, мы нашли Чусовскую группу совершенно не подготовленной к конференции.

Мы разыскали одного из членов группы токаря Николая Балашова, а через него — Якова Щербинина, которому Пермский комитет поручил созыв конференции.

На другой день с помощью Балашова и Щербинина нам удалось организовать конференцию, которая собралась в лесочке за церковью. В конференции участвовало II человек.

На конференции было рассмотрено три вопроса: «Текущий момент», письмо Пермского комитета об организации бюро и выборы бюро.

Доклад о «текущем моменте» был сделан Щербининым; по этому вопросу обсуждали вопросы о перестройке работы в условиях реакции и о безработице, так как в этот момент в России началась ужасная безработица, как следствие русско-японской войны.

Теперь может показаться странным, что могли предпринять мы — маленькая подпольная группа — в борьбе с таким страшным бичом рабочих, как безработица? Однако, несмотря на тяжелую обстановку, мы вели работу не только по разъяснению рабочим причин, порождающих безработицу, но и проводили ряд мероприятий для борьбы с нею.

Мы боролись со сверхурочными работами, со сделщиной, так как такими методами предприниматели проводили сок-

ращение рабочих, увольняя в первую очередь политически развитых, сознательных рабочих.

Борьба против сверхурочных и сдельщины велась не только путем убеждения и пропаганды, но в случае нужды и посредством объявления бойкота рабочим, которые шли на удочку администрации.

В крайних случаях применялись и другие методы воздействия, вплоть до сбрасывания на голову гаек, кусков металла и порчи или прятания инструмента у рабочих, не желавших подчиниться рабочей этике.

По второму вопросу было принято предложение Пермского комитета об организации районного бюро.

После этого наметили членов бюро в количестве 5 человек. Избранными в бюро оказались следующие товарищи: от Чусовой — Николай Балашов, Яков Щербинин и, кажется, Будрин, от Бисера — Костарев и я.

После выборов бюро был намечен план дальнейшей работы, а также разработаны детали установления связи и доставки литературы.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

В 1907 году, когда реакция давила во-всю, наша партийная группа решила провести массовое празднование 1 Мая. Это по существу была первая маевка в нашем заводе, если не считать неудачной попытки провести маевку в 1906 году.

Приставом был тогда дан наказ старшему стражнику не только разгонять какие бы то ни было «скопища» рабочих, но также не спускать глаз с Костарева, Просвирнина и меня.

Как первого мая 1906 года, так и накануне, мы все трое оказались в положении усиленно охраняемых. Куда бы мы ни пошли — всюду за нами по пятам ехали конные стражники.

В конце концов нам надоела эта комедия, и мы в свою очередь начали дразнить стражников. Для этого мы с груп-

пами молодежи разошлись в разные концы завода и стали появляться то на одной, то на другой улице, то переплывали через реку, не оставив на берегу ни одного «шитика» (плоскодонная лодка, управляемая не веслами, а шестами, пригодная для плавания по горным речкам), и этим заставляли стражников гнать на лошадях около трех километров через мост, а когда они подъезжали, мы снова переплывали обратно.

Так целый день 1 мая 1906 года, до десяти часов вечера, шла у нас со стражниками игра «в кошку и мышку», пока они не убрались на отдых.

А мы, собрав к одиннадцати часам вечера человек 15 в одной из квартир, провели остаток дня 1 мая.

В 1907 году становой пристав был уверен, что революция подавлена и в Бисере не посмеют устраивать первомайских «сборищ». Но он ошибся.

К 1 Мая мы стали готовиться недели за две, проводя среди рабочих агитацию за устройство маевки.

Наша агитация оказалась успешной, особенно среди горняков и доменщиков.

Маевку решили проводить не в лесу, а почти в центре поселка, на горке, служившей местом для прогулок летом. Горка называлась Камешком.

Сбор назначили в 12 часов дня. Но нашу маевку чуть не сорвала погода. К утру 1 мая внезапно выпал снег.

Проснувшись в пять часов утра и, увидев всюду снег, я побоялся, что наша маевка сорвется.

Мои печальные размышления прервал конторский сторож, прибежавший с сообщением, что меня вызывают в контору завода к телефону. Меня это сообщение поразило, так как рабочим, вообще, запрещалось разговаривать по телефону.

Оказалось, что меня вызвал Кырменский рудник. Один из забойщиков, член нашей группы, спрашивал меня по телефону, состоится ли маевка, так как рабочие беспокоятся не отменили ли ее по случаю снега. Если нет, то ра-

бочие сейчас же выйдут с рудника (рудник от завода находился в 12,5 километрах).

Я предложил им немедленно выходить.

Действительно, через час после этого разговора выглянуло теплое весеннее солнышко и к полудню снег согнало и землю высушило.

К условленному времени начали подходить к Камешку рабочие. Минут за двадцать до сбора наш комитет почти полностью явился на место, чтоб быть готовым к встрече рабочих.

По рабочему обычаю, мы принесли с собой небольшую плетеную корзинку и поставили на каменную глыбу кубической формы, заменившую нам стол.

В корзинке лежали две бутылки водки, несколько ломтей черного хлеба, лук и соль, а также две чайные чашки. Рабочие, точно сговорившись, подходя к месту сбора, вытаскивали из карманов кто полбутылки, кто бутылку, ставили на камень к нашей корзинке и выкладывали свою рабочую закуску — ломти черного хлеба, головки лука, соль, печеные яйца.

К началу маевки не только на каменной глыбе, но и на земле вокруг нее лежало много бутылок и полбутылок. Все это делалось молча, без всяких лишних разговоров.

Несмотря на наличие среди собравшихся любителей выпивок, никто не рвался к водке.

Особенно поразило рабочих, когда перед открытием маевки мы развернули два атласных флага: красный и черный, вышитые шелком, с лозунгами: на красном, в правом углу — «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», посередине — «Да здравствует свобода! Да здравствует революция! Да здравствует социал-демократическая партия!»

На черном: «Вечная память погибшим борцам за рабочее дело. Смерть и проклятье всем палачам!»

Флаги, по заказу нашей группы, были сделаны в Перми.

Прикрепив флаги к древкам, мы подняли их на две ели, росшие неподалеку от камня. Когда флаги стали развеваться

над местом нашей маевки, настроение рабочих еще больше поднялось.

Один старик-забойщик, по прозвищу «Курья рать», глубоко взволнованный подошел к Костареву со слезами на глазах и сказал:

— Эх, Петя, уж шибко баско, лучше чем на христовой заутрене—и, обращаясь к собравшимся:—Верно я говорю, товарищи?

— Верно, верно,— послышались в ответ голоса:

К часу дня собралось человек полтораста, и первомайский митинг был открыт.

По поручению группы со вступительным словом должен был выступить я.

Когда я приготовился выступить, один пожилой забойщик подошел, взял бутылку водки, раскупорил ее, налил чашку и поднес мне со словами:

— На, Петя, выпей, складней говорить будешь.

Когда я вздумал отказываться, мотивируя тем, что я уже больше года не пью, послышались дружные голоса:

— Выпей, выпей, Петя! Это ничего, что ты не стал выпивать, а для рабочего праздника никакого греха не будет.

Что ж, пришлось подчиниться воле коллектива, выпить чашку водки, а затем уж выступать.

Порядок дня маевки был несложен — вступительное слово перед открытием и два доклада; первый об истории празднования Первого мая и организации Интернационала; второй — о текущем моменте и задачах рабочего класса. Первый доклад делал я, второй — Петр Костарев.

После докладов, продолжавшихся около полутора часов, приступили к беседам и выпивке.

Наши ораторские способности получили со стороны рабочих хорошую оценку;

— А ведь складно вы, ребята, сказанули, и когда вы только успели столько узнать?

Обилие принесенной водки вызвало у нас опасение, что большие любители выпивки могут испортить нам маевку, однако, сверх наших ожиданий, все обошлось не только благо-

получно, но даже блестяще. Ни одной ссоры, ни похабной ругани до самого конца маевки не было слышно, не наблюдалось ни малейшего сходства с обычными пьяными гулянками.

Даже сама выпивка носила торжественный характер: рабочие без всякой толкотни подходили к камню, чинно, неспеша выпивали порцию водки из чашки и шли беседовать с членами нашей группы, или дружно пели революционные песни. Песни чередовались с беседами.

Конечно, не обошлось без попытки со стороны полиции разогнать нашу маевку, но из этой попытки ничего не вышло.

Когда полицейские увидели развешиваемые на елях флаги и слышали пение, то явились непрошенные на маевку. Однако рабочие дали им такой отпор, что они поспешно ретировались с угрозой составить протокол о незаконном сборище.

Наша маевка, кроме непосредственных участников, привлекла еще много народу.

День Первое мая в тот год совпал с так называемым «родительским днем». Верующие из церкви вместо кладбища ринулись к нам — посмотреть, что происходит на «Камешке», где «политики» устроили какую-то маевку. Люди толкались около маевки, стараясь разглядеть получше поющих людей, хотя каждого из участников маевки всякий знал, как свои пять пальцев.

Но в этой необычной обстановке хорошо знакомые люди казались какими-то другими.

Около девяти часов вечера участники маевки неспеша разошлись по домам напевая песни, кто какие знал.

Опасаясь арестов рабочих, наша группа всю ночь вела наблюдение за полицией и лишь под утро, когда жены рабочих начали топить свои печи и носить с речки воду, мы разошлись по домам отдыхать, уверенные в том, что если полиция вздумает что-либо предпринять, то женщины тотчас нас предупредят.

На другой день, встретившись с бухгалтером лесничества считавшим себя в дни «свобод» кадетом, а после разгона

Первой Государственной Думы уже сочувствовавшим октябристам, я его спросил:

— Ну, как вы, Михаил Васильевич, провели вчера Первое мая?

— Ой, и не говори, Петр Петрович, мы от страха не знали куда деваться. Ведь, подумай только, собралась такая тьма рабочих, да еще с выпивкой. А ну, думаем, как напьются да и придет им на ум с нами, служащими, посчитаться, ведь мокренько от нас останется. А когда узнали, что и полиция ничего не может поделать, то совсем у нас мурашки заходили по телу.

— Эх ты, — говорю, — испугался до смерти первого свободного рабочего собрания, а еще говорил в 1905 году, что тоже за свободу стоишь. Конечно, рабочим есть за что посчитаться со служащими графа Шувалова, это верно, да только расчет будет другой, и шкуры с вас драть — не стоит руки марать.

Маевка 1907 года была последним проявлением рабочей свободы на нашем руднике.

Вскоре началась полоса арестов и репрессий.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Нас арестовали 4 февраля 1908 года. Я в этот день приехал из Кушвинского завода, куда ездил для установления связи с местной партийной группой.

Приехав на свою станцию, я получил очередную партию литературы, закусил наскоро дома и ушел в рудник на работу. Не успел я проработать и часа в шахте, как из завода прискакал верхом подросток-рабочий и сообщил, что у нас в квартирах идет обыск.

Я ругнул себя за беспечность, так как оставил дома полученную литературу. В полной уверенности, что нас приехали арестовать, я и мои товарищи — Костарев, Просвирнин и Вялых — позвали штейгера, сдали добытую руду, инструмент и направились в завод.

К моему удивлению, полицейских около моей квартиры не оказалось. Войдя в дом, я узнал, что обыск у меня был, но ничего не нашли — женщины успели всю литературу спрятать на огороде в снег.

Я отправился к Костареву узнать, был ли у него обыск. Оказалось, тоже был и тоже безрезультатный.

Но не успели мы порадоваться, как проходившая мимо женщина сообщила нам, что Вялых арестован и сидит под охраной стражников. Его арестовали сразу по приходе с рудника.

Мы пошли с Костаревым в лавку общества потребителей, купили для Вялых на дорогу продукты и папиросы и занесли ему в волостное правление.

Пошли дальше узнавать, что с Просвирниным. Он оказался дома, обыск у него уже закончился и тоже благополучно; хранившийся у него гектограф он успел вынести на глазах сидевшего стражника и спрятать во дворе.

Проходили мы с Костаревым еще час по улицам, смотрим, бежит нам навстречу стражник с винтовкой и говорит мне:

— Идем, тебя пристав зовет.

Пришел на земскую квартиру к приставу. Он начал допрос:

— Вы, господин Ермаков, получили через контору деньги, собранные по подписному листу среди рабочих; на какие цели вы их употребили?

Я спокойно достал из кармана портмонэ и вынул почтовые квитанции о переводе денег редакциям различных газет: «Уральской жизни», «Пермского края», «Русского слова» и «Товарища» — газеты проф. Ходского.

— Вот, господин пристав, квитанции в переводе денег на газеты по коллективной подписке горнорабочих. Все газеты разрешены правительством.

— Да, да, это очень похвальная вещь выписывать газеты для просвещения рабочих. Я сам стою за просвещение, у меня жена даже учительница. А все-таки, господин Ермаков, я вас должен арестовать.



Он достал из портфеля ордер на мой арест.

— Что ж, — говорю, — власть ваша и сила на вашей стороне. Разрешите мне только сходить домой и взять вещи на дорогу.

— Как же я могу вас отпустить, стражников у меня свободных для конвоирования нет, а одного отпустить не могу.

— Не беспокойтесь, господин пристав, бежать мне не от чего, а без вещей я не поеду.

Мой довод, что мне бежать не от чего, поддержал хозяин земской квартиры:

— Да что вы, ваше благородие, ведь Ермаков не преступник какой-нибудь, зачем ему бежать?

Пристав сердито:

— Ты, старик, ничего не понимаешь. Ермаков — государственный преступник.

— Что вы, что вы, ваше благородие, да какой Ермаков преступник? Да он такой у нас смирный парень, он никого не трогал и никаким шарамыжничеством не занимался.

Я не дослушал до конца и, не торопясь, отправился домой за вещами.

Первую ночь после ареста я провел на станции Чусовой в жутком клоповнике.

Всю ночь до утра я пробегал по камере, как помешанный, не смея присесть на нары.

Попробовал я просить стражников перевести меня в другую камеру, но получил ответ:

— Ишь ты, такой-сякой бунтовщик, с клопиками сидеть не хочет. В гостиницу не желаешь ли? А вот не угодно ли плеткой тебя попорем, тогда уснешь и клопиков не услышишь.

Ну, думаю, держись, Ермаков, это, пожалуй, еще цветочки, а ягодки тебя ждут впереди.

К счастью, пристав решил поскорее от нас освободиться и вечером того же дня отправил нас с Вялых в Пермь.

В камере при уездном полицейском управлении мы просидели три недели, а затем нас отправили в Пермскую тюрьму.

Мы уже знали свой приговор: «Административная ссылка в Сибирь».

Пересыльная камера была переполнена до отказа.

Кого только среди арестованных не было: социал-демократы, эсеры, лбовцы и люди, не имевшие никакого отношения к революционному движению. Почти каждую ночь ингуши партиями приводили мотовилихинских рабочих. Очень много было крестьян, стариков, подростков с Украины, из центральных и средневолжских губерний, высланных на Север Пермской губернии за разгромы «дворянских гнезд».

Помню популярную тогда песенку, распеваемую на мотив некрасовских «Коробейников»:

Эх, полным полна тюремушка,  
Есть в ней эсеры и эс-де,  
Витте бережно торгуется,  
Конституцию дает,  
А Дурново ходит дуется,  
Просит тюрем добавлять.  
Строим тюрьмы мы немалые,  
Арестуем без числа,  
Да, промахи небывалые  
Конституция дала.

В тюрьме у нас вспыхивали не раз горячие споры с меньшевиками. Среди них больше всех было ренегатов. Это были те, кто прильнул к революции в период натиска, но лишь только революционные волны начали спадать, как публика этого рода занялась «переоценкой революционных ценностей», оплевыванием революционной борьбы. Нет ничего гнуснее и подлее, как поведение ренегатов, ищущих оправдания своему черному делу измены. Иногда споры с ренегатами доходили почти до кулаков. Многие рабочие, не имея подготовки, чтобы вести теоретические споры, но чувствуя, что шельмуется наше святое дело, не выдерживали и с кулаками подсакивали к ренегатам:

— Довольно, сволочь, клеветать на дело, за которое льется кровь честнейших людей!

1908 год был тем периодом реакции, когда ренегатство приняло широкие размеры и примазавшиеся к революционному движению толпами уходили с чуждого им пути.

В Пермской тюрьме я впервые познакомился с тюремными законами и обычаями, а также как себя вести.

Через две недели нас отправили по этапу, и я надолго простился с Уралом.

В родной Бисер я вернулся лишь в марте 1917 года после девятилетних скитаний по Сибири.

---

Редактор *К. Рождественская*

\*

Обложка худ. *Г. Ляхина*

\*

Подписано в печать 26/III 1947 г.

Печ.л. 5<sup>1</sup>/<sub>4</sub>. Уч.- изд. л. 8,35.

НС 12806. Формат 70×108/32.

Тираж 10 000. Заказ № 369.

\*

5-я типография треста «Полиграфкнига»

Огиза при Совете Министров СССР.

Свердловск, ул. Ленина, 47.

\*

